

ХАЧЬ ЯНАГЖАРА

Выражение *tour de force* словно специально придумано для этого
невероятно смелого романа. **KIRKUS REVIEWS**

МАГНИТ

CoRpus

УЛИЗЫ

18+

Ханья Янагихара
Маленькая жизнь

«Corpus (ACT)»

2015

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Янагихара Х.

Маленькая жизнь / Х. Янагихара — «Corpus (ACT)», 2015

ISBN 978-5-17-097119-0

Университетские хроники, древнегреческая трагедия, воспитательный роман, скроенный по образцу толстых романов XIX века, страшная сказка на ночь – к роману американской писательницы Ханьи Янагихары подойдет любое из этих определений, но это тот случай, когда для каждого читателя книга становится уникальной, потому что ее не просто читаешь, а проживаешь в режиме реального времени. Для кого-то этот роман станет историей о дружбе, которая подчас сильнее и крепче любви, для кого-то – книгой, о которой боишься вспоминать и которая в книжном шкафу прячется, как чудище под кроватью, а для кого-то «Маленькая жизнь» станет повестью о жизни, о любой жизни, которая достойна того, чтобы ее рассказали по-настоящему хотя бы одному человеку. Содержит нецензурную брань.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-097119-0

© Янагихара Х., 2015

© Corpus (ACT), 2015

Содержание

I		6
	1	6
	2	19
	3	45
II		55
	1	55
	2	100
	3	108
Конец ознакомительного фрагмента.		114

Ханья Янагихара

Маленькая жизнь

© Nanya Yanagihara, 2015

© А. Борисенко, перевод на русский язык, послесловие, 2017

© А. Завозова, перевод на русский язык, послесловие, 2017

© В. Сонькин, перевод на русский язык, послесловие, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Издательство CORPUS ®

* * *

Моему другу Джареду Холту – с любовью

I

Лиспенард-стрит

1

В одиннадцатой квартире стенной шкаф был всего один, зато за раздвижной стеклянной дверью обнаружился балкончик, и с этого балкончика он видел мужчину, который курил на улице в одной футболке и шортах, хотя стоял октябрь. Виллем помахал ему, но мужчина не ответил на приветствие.

В спальне Джуд открывал и закрывал дверь-гармошку стенного шкафа.

– Здесь только один шкаф, – сказал он.

– Ничего, – ответил Виллем. – Мне все равно нечего туда класть.

– Мне тоже.

Они улыбнулись друг другу.

Агентша, сдававшая квартиры в этом здании, вошла следом за ними.

– Мы согласны, – сказал ей Джуд.

Но когда они вернулись в офис агентства, выяснилось, что квартиру им не сдадут.

– Почему? – спросил Джуд.

– Ваш заработок не покрывает арендную плату за полгода, и сбережений у вас нет, – сказала вдруг охладевшая к ним агентша.

Она проверила их кредитную историю и банковские счета и наконец сообразила, что неспроста два молодых человека за двадцать, явно не пара, пытаются снять квартиру с одной спальней на скучном (хоть и все равно дорогом) отрезке Двадцать пятой улицы.

– Может кто-нибудь подписать договор как ваш поручитель? Начальник, родители?

– Наши родители умерли, – быстро ответил Виллем.

Агентша вздохнула.

– Тогда советую вам умерить аппетиты. Ни в одном приличном доме не сдадут квартиру съемщикам с вашим финансовым положением.

Она решительно встала и многозначительно посмотрела на дверь.

Однако, рассказывая об этом Джей-Би и Малкольму, они представили все в комическом свете: якобы дверь квартиры была вся загажена мышиным пометом, мужик напротив чуть ли трусы перед ними не снял, а агентша обозлилась оттого, что Виллем не отвечал на ее авансы.

– Какой идиот захочет жить на углу Двадцать пятой и Второй? – спросил Джей-Би.

Они сидели в «Фо Вьет Хыонг» в Чайнатауне, где собирались на ужин дважды в месяц. «Фо Вьет Хыонг» был типичной тошнеловкой – фо здесь был странно приторным, сок лайма отдавал мылом, и по крайней мере одному из них непременно становилось плохо после этих ужинов; но они все равно приходили, по привычке и из-за дешевизны. Здесь давали миску супа или сэндвич за пять долларов, а основное блюдо стоило от восьми до десяти, но порции были огромные, так что можно было половину доесть назавтра или в тот же день перед сном. Один Малкольм никогда не съедал свое блюдо целиком и ничего не брал с собой – закончив есть, он ставил свою тарелку в центр стола, чтобы вечно голодные Виллем и Джей-Би могли доесть оставшееся.

– Ясное дело, мы не *хотим* жить на углу Двадцать пятой и Второй, Джей-Би, – кротко сказал Виллем. – Но выбирать не приходится. Ты же знаешь, у нас нет денег.

– Я не понимаю, почему нельзя все оставить как есть, – сказал Малкольм, гоня по тарелке грибы и тофу под пристальным взглядом Виллема и Джей-Би, – он всегда заказывал одно и то же: вешенки с жареным тофу в густом темном соусе.

– Ты же знаешь, я не могу, – сказал Виллем. За последние три месяца он объяснял это Малкольму раз десять. – Меррит съезжается со своим бойфрендом, так что мне придется свалить.

– Но почему именно тебе?

– Потому что квартиру снимает Меррит! – сказал Джей-Би.

– А, – сказал Малкольм и притих. Он часто забывал то, что казалось ему несущественным, но зато не обижался, когда окружающие выходили из себя от его забывчивости. – Понятно. – Он поставил грибы в центр стола. – Но ты-то, Джуд...

– Я не могу оставаться у вас вечно, Малкольм. Твои родители рано или поздно меня просто убьют.

– Мои родители тебя обожают.

– Это приятно слышать, но если я скоро не съеду, они меня разлюбят.

Малкольм единственный из четверых до сих пор жил дома, и, как любил говорить Джей-Би, будь у него такой дом, он бы тоже там жил. Не то чтобы это жилище отличалось особой роскошью – оно было запущенным и скрипучим, а Виллем однажды загнал себе занозу, просто проведя рукой по перилам, – но это был большой, настоящий верхне-истсайдский особняк. Сестра Малкольма Флора, на три года его старше, недавно съехала из полуподвальных комнат, и Джуд временно там обосновался. Родители Малкольма собирались превратить эти комнаты в офис литературного агентства, принадлежащего матери, и это означало, что Джуду (которому все равно трудно было преодолевать лестницу) придется найти себе что-то другое.

Само собой разумеется, что они поселятся вместе с Виллемом, они и в колледже жили в одной комнате. На первом курсе они жили вместе все вчетвером: в их распоряжении была гостиная с бетонными стенами, где стояли письменные столы, стулья и диван, привезенный тетками Джей-Би на трейлере, а также крошечная спальня с парой двухэтажных кроватей. Комнатка была такой узкой, что Малкольм и Джуд, занимавшие нижние койки, могли бы взяться за руки, не вставая. Над Малкольмом спал Джей-Би, над Джудом – Виллем.

– Белые против черных, – говорил Джей-Би.

– Джуд не белый, – возражал Виллем.

– А я не черный, – добавлял Малкольм, не столько всерьез, сколько чтобы позлить Джей-Би.

– Короче, – сказал Джей-Би, придвигая к себе вилкой тарелку с грибами, – я бы пригласил вас пожить со мной, но вы там охренеете.

Джей-Би жил в огромном грязном лофте в Маленькой Италии, где странные коридоры вели в бесполезные тупики причудливой формы или в недокомнаты с недостроенными гипсокартонными стенами. Это жилище принадлежало еще одному их однокашнику. Эзра был художником, причем плохим, но зачем ему стараться, говорил Джей-Би, ему ведь никогда в жизни не придется работать. И ведь не только ему, но и его детям, и детям детей: они будут плодить негодные, непродаемые, никчемные произведения искусства, а себе покупать лучшие картины, какие только душа пожелает; они смогут приобретать непрактичные огромные лофты в центре Манхэттена и как угодно уродовать их своими архитектурными потугами, а устав от жизни вольных художников – Джей-Би был уверен, что именно так и случится с Эзрой, – просто-напросто пойдут к своему банкиру и получают огромную кучу денег, им четверым таких деньжищ в жизни не видать (ну разве только Малкольму). Пока что, однако, знакомство с Эзрой приносило много пользы: не только потому, что он позволял Джей-Би и другим бывшим соученикам жить у себя – в любое время в разных концах

лофта гнездились четыре-пять человек, – но и потому, что он был человек благодушный и щедрый от природы и любил закатывать грандиозные вечеринки с огромным количеством бесплатной еды, алкоголя и наркотиков.

– Погодите-ка, – сказал Джей-Би, опустив палочки. – Я вдруг сообразил: у нас в журнале одна девица сдает квартиру своей тетки. Практически на краю Чайнатауна.

– Почему? – спросил Виллем.

– Может, даже задаром – она не знает, сколько за нее просить. Но хочет, чтобы там жили знакомые.

– А ты можешь замолвить за нас словечко?

– Лучше того – я вас познакомлю! Можете прийти завтра ко мне на работу?

Джуд вздохнул:

– Я не смогу отлучиться. – Он посмотрел на Виллема.

– Не волнуйся, я смогу. Во сколько?

– В обеденный перерыв, наверное. В час?

– Договорились.

Виллем все еще был голоден, но дал Джей-Би доесть грибы. Потом они немного еще подождали: иногда Малкольм заказывал мороженое из джекфрута (единственное блюдо в меню, которое всегда удавалось), откусывал от него раза два, потом откладывал, и Виллем с Джей-Би его приканчивали. Но на этот раз Малкольм не заказал мороженого, так что они попросили счет, изучили его и разделили до последнего доллара.

На следующий день Виллем пришел на работу к Джей-Би. Джей-Би работал в Сохо, в приемной маленького, но влиятельного журнала, который писал об экспериментальном искусстве Нью-Йорка. Это был стратегический выбор: план Джей-Би, как он объяснил однажды Виллему, заключался в том, чтобы завязать дружбу с редактором и стать героем статьи. По его расчету, на это должно было уйти полгода, то есть теперь оставалось еще три месяца.

На работе с лица Джей-Би не сходило выражение легкого недоумения – оттого, что ему вообще приходится работать, и оттого, что никто до сих пор не разглядел в нем уникальный талант. Свои обязанности он выполнял из рук вон плохо. Хотя телефоны не замолкали, он редко брал трубку; когда кто-то из друзей пытался ему позвонить (мобильная связь в здании была ненадежной), приходилось следовать специальному коду: два звонка, отбой, еще один. И даже в этом случае он мог не ответить – его руки под столом были заняты расчесыванием и плетением прядей волос, которые он доставал из черного мусорного мешка, стоявшего у ног.

Джей-Би называл это «мой волосяной период». Недавно он решил сделать перерыв в живописи и переключиться на создание композиций из черных волос. Каждому из друзей пришлось пережить утомительный уикенд, таскаясь за Джей-Би из парикмахерской в парикмахерскую в Квинсе, Бруклине, Бронксе и на Манхэттене, околачиваться снаружи, пока Джей-Би ходил спрашивать владельцев, нет ли для него обрезков, а потом тащить за ним по улицам распухающий по пути мешок с волосами. Среди его ранних вещей была «Булава»: теннисный мячик, который он побрил, разрезал пополам и заполнил песком, а затем намазал клеем и возил по ковру волос туда-сюда, так что обрезки волос качались, будто подводные водоросли; и серия «Нассущное» – идея была в том, чтобы покрывать волосами различные бытовые предметы: степлер, лопатку, чашку. Сейчас он работал над масштабным проектом, который отказывался с ними обсуждать, но из отдельных намеков было ясно, что проект предполагает расчесывание и сплетение огромного количества прядей, так что на выходе должна получиться бесконечная веревка из курчавых черных волос. В прошлую пятницу он заманил их к себе обещанием пиццы и пива, чтобы они помогли ему плести косички, а после

долгих часов нудной работы стало ясно, что ни пиццы, ни пива не предвидится, и они ушли, разочарованные, но не слишком удивленные.

Им всем до смерти надоел волосяной проект, хотя Джуд – единственный из них – считал, что вещи получаются милые и что когда-нибудь их сочтут значительными. В благодарность за это Джей-Би подарил Джуду щетку для волос, всю покрытую волосами, но потом забрал ее обратно, потому что ему показалось, будто друг отца Эзры хочет ее купить. (Тот щетку не купил, но Джей-Би так и не вернул ее Джуду.) Волосяной проект оказался сложным во многих отношениях: в другой вечер, когда Джей-Би опять каким-то чудом уговорил всех троих прийти в Маленькую Италию чесать волосы, Малкольм заметил, что они воняют. Так и было: запах был не особенно противный, просто резкий металлический душок немойтой головы. Но Джей-Би закатил форменную истерику, обозвал Малкольма негром-расистом, дядей Томом, предателем своего народа, и Малкольм, который сердился крайне редко, но уж если сердился, то как раз на подобные обвинения, встал, вылил остатки вина в ближайший мешок с волосами и ушел. Джуд по мере сил постарался его догнать, а Виллем остался успокаивать Джей-Би. Несмотря на то что эти двое на другой день помирились, Виллем и Джуд продолжали злиться на Малкольма (хотя понимали, что это несправедливо) и в следующий уикенд опять приехали в Квинс и ходили по парикмахерским, пытаясь собрать мешок волос взамен испорченного.

– Как жизнь на черной планете? – спросил Виллем у Джей-Би.

– Черна, – ответил Джей-Би, расплетая очередную косичку и засовывая волосы обратно в мешок. – Пошли, я сказал Аннике, что мы будем на месте в час тридцать. – Телефон на его столе снова зазвонил.

– Не хочешь взять трубку?

– Перезвонят.

Всю дорогу Джей-Би жаловался на жизнь. Пока что он направлял свои чары на старшего редактора по имени Дин, которого они между собой называли ДиЭн. Как-то они втроем были на вечеринке в «Дакоте», в квартире, принадлежавшей родителям одного редактора, где одна увешанная картинами и фотографиями комната плавно перетекала в другую. Пока Джей-Би болтал на кухне с коллегами, Малкольм и Виллем прошлись по квартире (а где в тот вечер был Джуд? Работал, должно быть), посмотрели висевшего в гостевой спальне Буртинского, увидели знаменитые водонапорные башни Бехеров, которые висели над столом в четыре ряда по пять снимков; огромного Гурски, висящего над низким стеллажом в библиотеке, и, наконец, в хозяйской спальне обнаружили целую стену Дианы Арбус, причем фотографии были развешены так плотно, что оставалось всего несколько сантиметров свободной стены сверху и снизу. Они стояли, восхищаясь изображением двух хорошеньких девочек с синдромом Дауна, позирующих перед камерой в слишком легких, слишком детских купальниках, когда к ним подошел Дин. Это был высокий мужчина, но лицо у него было маленькое, крысиное, рябое и оттого не внушало доверия.

Они представились и объяснили, что они друзья Джей-Би. Дин сказал, что он старший обозреватель и отвечает за все новинки.

– А, – сказал Виллем, стараясь не встречаться глазами с Малкольмом, чтобы тот не рассмеялся. Джей-Би говорил им, что его потенциальная мишень – старший обозреватель, наверняка это он.

– Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? – спросил он, указывая на работы Арбус.

– Никогда, – ответил Виллем. – Мне страшно нравится Диана Арбус.

Дин застыл, казалось, его мелкие черты собрались в горстку в центре острого личика.

– ДиЭн.

– Что?

– ДиЭн. Ее имя произносится ДиЭн.

Они едва смогли сдержать смех, пока не выбежали из комнаты.

– ДиЭн! – воскликнул позже Джей-Би, когда они пересказали ему этот эпизод. – О боже! Вот же надутый говнюк.

– Но это *твой* надутый говнюк, – сказал Джуд. С тех пор они называли Дина ДиЭн.

Увы, несмотря на все усилия Джей-Би, его цель – стать героем статьи – была так же далека, как и несколько месяцев назад. Джей-Би даже позволил ДиЭну отсосать у него в парилке спортзала, и все без толку. Каждый день Джей-Би находил повод зайти в редакторский отдел и посмотреть на доску, где вывешивались идеи и планы на ближайшие три месяца, записанные на белых карточках, каждый день он всматривался в секцию, посвященную перспективным молодым художникам, в поисках своего имени, и каждый раз его ждало разочарование. Вместо себя он видел имена всяких бездарей и выскочек, нужных людей или знакомых нужных людей.

– Если увижу там Эзру, повешусь, – говорил Джей-Би, на что остальные отвечали «Еще не хватало, Джей-Би», или «Не волнуйся, Джей-Би, рано или поздно все получится», или «На фига тебе это надо, Джей-Би?», на что Джей-Би отвечал, соответственно, «Думаешь?», или «Что-то, блядь, не похоже», или, «Да я уже три месяца своей блядской жизни угрохал на эту херню, и если меня не будет на этой блядской доске, то опять все псу под хвост, как всегда». «Как всегда» означало магистратуру, возвращение в Нью-Йорк, волосняную серию или жизнь в целом, в зависимости от того, насколько мрачно он был настроен.

Джей-Би все еще продолжал жаловаться, когда они свернули на Лиспенард-стрит. Виллем жил в Нью-Йорке недавно – всего год – и никогда не слышал об этой улице, скорее напоминавшей переулок, в два квартала длиной и в одном квартале от Канал-стрит, однако Джей-Би, выросший в Бруклине, тоже о ней не слышал.

Они нашли нужный дом и позвонили в квартиру 5С. Ответила девушка, голос ее в домофоне звучал прерывисто и слабо, она впустила их в подъезд. Внутри их встретил узкий вестибюль с высоким потолком, стены были выкрашены блестящей, темной, кашеменно-коричневой краской – им показалось, будто они на дне колодца.

Девушка ждала их у дверей квартиры.

– Привет, Джей-Би, – сказала она.

Потом взглянула на Виллема и покраснела.

– Анника, это мой друг Виллем, – сказал Джей-Би. – Виллем, Анника работает в отделе дизайна. Она классная.

Аника протянула Виллему руку и пробормотала «очень приятно», глядя в пол. Джей-Би пнул Виллема по ноге и ухмыльнулся. Виллем не отреагировал.

– Очень приятно, – сказал он.

– В общем, это квартира? Моей тети? Она прожила здесь пятьдесят лет, но теперь переехала в дом престарелых? – Анника говорила очень быстро, она явно решила, что к Виллему надо относиться как к солнечному затмению и ни в коем случае не смотреть прямо на него. Она тараторила все быстрее и быстрее: тетя всегда говорила, что район очень изменился, она и не слыхала про Лиспенард-стрит, пока не переехала на Манхэттен, как жаль, что квартиру так и не покрасили, но тетя выехала только что, буквально только что, они только и успели, что сделать уборку в прошлые выходные. Она смотрела куда угодно, лишь бы не на Виллема – на потолок (штампованная жестяная плитка), на пол (хоть и растрескавшийся, а паркет), на стены (на которых когда-то висевшие тут картины оставили призрачные следы), – пока Виллем не был вынужден ее вежливо прервать и спросить, нельзя ли взглянуть на остальные помещения.

– Да, конечно! – отозвалась она. – Я тогда вас оставлю. – Однако она продолжала ходить за ними по пятам, торопливо рассказывая Джей-Би про какого-то Джаспера, и как он исполь-

зует «Арчер» буквально для всего, и разве Джей-Би не кажется, что этот шрифт слишком круглый и вычурный для основного текста? Теперь, когда Виллем повернулся к ним спиной, она не отрывала от него глаз, и речь ее становилась все более и более сбивчивой.

Джей-Би смотрел, как Анника смотрит на Виллема. Он никогда не видел, чтоб она так нервничала, не видел у нее этих девичьих ужимок (обычно она была молчалива и мрачновата, в офисе ее побаивались, особенно после того, как она соорудила у себя над столом сложную структуру в форме сердца из лезвий X-АСТО), но он видел многих женщин, которые вели себя точно так же в присутствии Виллема. Собственно, они все так себя вели. Их друг Лайонел говорил, что, видимо, Виллем в прошлой жизни был валерьянкой, поэтому к нему до сих пор липнут киски. Но в большинстве случаев (хотя и не всегда) Виллем, казалось, понятия не имел, что привлекает столько внимания. Джей-Би как-то спросил у Малкольма, как так получается, и Малкольм ответил, что Виллем просто ничего не замечает. Джей-Би только застонал в ответ, но про себя подумал: раз уж Малкольм, самый ненаблюдательный человек на свете, и то заметил, как женщины реагируют на Виллема, то уж Виллем точно не мог не заметить. Впрочем, позже Джуд предложил другое объяснение: Виллем намеренно не обращает внимания на реакцию женщин, чтобы окружающие мужчины не чувствовали угрозы с его стороны. Это было похоже на правду: Виллема все любили, и он сам старался никого не обижать, так что, возможно, он подсознательно изображал неведение. И все равно это было захватывающее зрелище, и они втроем всегда с удовольствием его наблюдали и потом с удовольствием подшучивали над Виллемом, хотя тот обычно только улыбался и отмалчивался.

– А лифт здесь исправный? – спросил Виллем, внезапно повернувшись.

– Что? – оторопела Анника. – А, да, он довольно надежный. – Ее бледные губы сложились в тонкую улыбку, которая, как догадался Джей-Би – и живот его свело судорогой от неловкости за нее, – должна была выражать кокетство. Ох, Анника, подумал он.

– А что ты собираешься втаскивать в тетину квартиру?

– Нашего друга, – ответил он, прежде чем Виллем успел открыть рот. – Ему трудно подниматься по лестницам, поэтому важно, чтобы работал лифт.

– А, – сказала она и снова покраснела. – Прости. Да, лифт работает.

Квартира наводила уныние. Прихожая, немногим больше придверного коврика, сразу раздваивалась: направо – кухня (душный и липкий куб), налево – так называемая столовая, в которой можно было поставить разве что складной столик. Половина стены отделяла это пространство от гостиной, где четыре зарешеченных окна выходили на замусоренную улицу, в конце небольшого коридора справа находилась ванная комната с мутными белыми бра и щербатой ванной, и напротив – спальня с одним окном, длинная, но узкая. Там стояли два деревянных каркаса кроватей, один напротив другого, каждый у своей стены. На одном лежал матрас, громоздкий и бесформенный, тяжелый, как дохлая лошадь.

– На матрасе никто не спал, – сообщила Анника. Дальше последовала длинная история о том, как она сама собиралась сюда въехать и уже купила матрас, но так им и не воспользовалась, потому что вместо этого съехала со своим другом Клементом, и он не бойфренд, а просто друг, господи, что же она за дура, зачем она это сказала. В общем, если Виллему понравится квартира, матрас он может получить бесплатно.

Виллем поблагодарил.

– Что думаешь, Джей-Би? – спросил он.

Что он думает? Он думает, что это просто вонючая дыра. Конечно, он тоже живет в дыре, но он сам так решил, поскольку его дыра бесплатная и деньги, которые уходили бы на аренду, можно тратить на краски, материалы и дурь и еще иногда ездить на такси. Но если бы Эзра надумал брать с него деньги, он бы тут же слинял. Может, у него не такая богатая семья, как у Эзры или Малкольма, но они точно не позволили бы ему выбрасывать деньги

на какую-то лачугу. Они бы нашли ему что-то получше или добавляли бы немного каждый месяц, чтобы он жил по-человечески. Но у Виллема и Джуда нет выбора: им приходится пробиваться самим, у них нет денег, и они обречены на жизнь в дыре. А раз так, то эта дыра не хуже любой другой – дешевая, близко к центру, и потенциальная хозяйка уже втрескалась в 50 % потенциальных жильцов.

Так что он сказал Виллему: «По-моему, то что надо», – и Виллем согласился. Анника испустила восторженный вопль. Еще немного сумбурных обсуждений, и все было решено: у Анники появились жильцы, у Виллема и Джуда – крыша над головой, а Джей-Би тут же напомнил Виллему, что у него обеденный перерыв и Виллем должен накормить его лапшой.

Джей-Би не был склонен к рефлексии, но в воскресенье в метро, по дороге к матери, он не удержался и поздравил себя со своим везением; он даже испытал нечто напоминающее благодарность: как хорошо, что у него именно такая жизнь и именно такая семья.

Его отец, эмигрировавший в Нью-Йорк с Гаити, умер, когда Джей-Би было три года, и хотя Джей-Би нравилось думать, что он помнит его лицо – доброе, ласковое, с тонкой полоской усов и щеками, которые округлялись, будто сливы, когда он улыбался, – он не знал, помнит ли его на самом деле или просто слишком долго разглядывал фотографию, стоящую на мамином прикроватном столике. В сущности, это была единственная печаль его детства, и та скорее выученная: он рос без отца и знал, что осиротевший ребенок должен скорбеть об утрате. Но по-настоящему он никогда не испытывал этой тоски. После смерти отца мать, гаитянская американка во втором поколении, получила докторскую степень в области образования, одновременно работая учителем в бесплатной школе по соседству, которая была сочтена недостойной Джей-Би. К тому времени, как он стал учиться – по стипендии – в старших классах дорогой частной школы, почти в часе езды от их дома в Бруклине, она уже была директором другой школы на Манхэттене, со специальной программой, и одновременно адъюнкт-профессором в Бруклинском колледже. Про ее новаторские методики преподавания написали статью в «Нью-Йорк таймс», и хотя Джей-Би никогда не признался бы в этом друзьям, он гордился ею.

Пока он рос, она была вечно занята, но он никогда не чувствовал недостатка внимания, не думал, что она любит своих учеников больше, чем его. Дома была бабушка, которая готовила ему все, что он пожелает, пела ему песни по-французски и каждый божий день повторяла, что он сокровище, гений, главный мужчина в ее жизни. И еще у него были тети – сестра матери, следователь в манхэттенской полиции, и ее девушка, фармацевт, тоже американка во втором поколении (только не с Гаити, а из Пуэрто-Рико); у них не было детей, и они обе относились к нему как к сыну. Сестра матери занималась спортом и научила его ловить и бросать мяч (даже тогда он мало этим интересовался, но позже это оказалось полезным социальным навыком), а ее девушка увлекалась искусством: одно из его самых ранних воспоминаний – как она привела его в Музей современного искусства и он, ошалев от восторга, не сводит глаз с картины «Один: номер 31, 1950» и почти не слышит ее объяснений о Поллоке и создании полотна.

В старших классах ему пришлось слегка перепридумать собственную биографию, чтобы выделиться среди сверстников. Особенно ему нравилось пробуждать неловкость в богатых белых одноклассниках, несколько сгущая краски: вроде как он обычный черный подросток-безотцовщина, у которого мать пошла учиться только после его рождения (он забывал добавить, что это была не школа, а магистратура), а тетка работает по ночам (опять же все думали, что она проститутка, а не полицейский). Его любимая семейная фотография была сделана лучшим школьным другом, мальчиком по имени Дэниел, которому он сказал правду непосредственно перед съемкой. Дэниел работал над серией портретов семей «на самом краю», и Джей-Би, уже стоя на пороге квартиры, торопливо развешал его представле-

ния о тете – ночной бабочке и полуграмотной матери. Дэниел открыл рот, но не смог издать ни звука, и тут к двери подошла мать Джей-Би и велела заходить, нечего, мол, стоять на холоде, и Дэниелу пришлось повиноваться.

Все еще не пришедший в себя Дэниел разместил их в гостиной: бабушка Джей-Би, Иветт, уселась на свое любимое кресло с высокой спинкой, с одной стороны от нее встали тетя Кристин и ее девушка Сильвия, а по другую – Джей-Би с матерью. Но вдруг, прежде чем Дэниел успел сделать снимок, Иветт потребовала, чтобы Джей-Би занял ее место. «Он король в этом доме, – сказала она, не слушая возражений дочерей. – Жан-Батист! Сядь!» Он сел. На фотографии он сжимает подлокотники кресла пухлыми руками (уже тогда он был пухлым), а женщины с обеих сторон смотрят на него с обожанием. Сам же он смотрит прямо в камеру и широко улыбается, сидя в кресле на законном бабушкином месте.

Их вера в него, в его будущий триумф, оставалась непоколебимой – настолько, что от этого делалось не по себе. Они были уверены – даже когда его собственная уверенность подвигалась многочисленным испытаниям и ее все труднее было возрождать, – что однажды он станет великим художником, что его картины будут висеть в главных музеях, что люди, которые не дают ему себя проявить, просто не понимают масштабов его дарования. Иногда он верил им и выплывал на этой их вере. А иногда сомневался: если их мнение настолько расходится с мнением всего остального мира, может быть, они необъективны или просто сошли с ума? А вдруг у них нет вкуса? Как может суждение четырех женщин так радикально отличаться от суждения всех остальных? Какова вероятность, что правы именно они?

И все же большим облегчением были эти тайные воскресные визиты домой, где можно наесться вдоволь, где бабушка стирает его вещи, где будут ловить на лету каждое его слово, восхищенно обсуждать каждый набросок. Дом матери был родной землей, тем местом, где перед ним благоговейно, где все обычаи и порядки служат ему, его потребностям. И вечером, в какую-то минуту – после обеда, но до десерта, когда они все сидят у телевизора в гостиной и мамина кошка греет его колени, – он смотрит на своих женщин и чувствует, как что-то нарастает в груди. Он думает о Малкольме, о его безупречном интеллектуале-отце, и милой, но рассеянной матери, потом о Виллеме и его покойных родителях (Джей-Би видел их только однажды, на первом курсе, когда друзья съезжали из общежития перед каникулами, и удивился, какие они холодные, какие чопорные, ни в чем не похожие на Виллема) и, наконец, конечно, о Джуде, вообще без всяких родителей (здесь какая-то тайна: они знакомы больше десяти лет и вообще не знают, были ли у Джуда родители, только что все было очень плохо и об этом нельзя говорить), и тут Джей-Би обволакивает теплая волна счастья и благодарности, как будто океан поднимается к его груди. Как мне повезло, думает он – потому что он привык во всем соревноваться со сверстниками и вел вечный счет, – я самый везучий из нас. Но никогда ему не думалось, что он этого не заслуживает или что надо больше трудиться, чтобы выразить свою благодарность; его семья счастлива, если он счастлив, и, значит, единственное его обязательство – быть счастливым, жить так, как хочется, делать все по-своему.

– Как жаль, что семья нам дается не по заслугам, – сказал однажды Виллем под сильным кайфом. Он, конечно, имел в виду Джуда.

– Согласен, – ответил Джей-Би. И он правда был согласен: никто из них, ни Виллем, ни Джуд, ни даже Малкольм, не имел той семьи, которой заслуживал. Но втайне он считал себя исключением: у него была именно такая семья. Он знал, что его домашние – настоящее чудо. И именно этого он заслуживал.

«А вот и мой лучший в мире мальчик!» – восклицала Иветт, когда он входил в дом. И он несколько не сомневался, что так оно и есть.

В день переезда лифт сломался.

– Черт побери, – сказал Виллем. – Я же специально спрашивал Аннику про это. Джей-Би, у тебя есть ее телефон?

Но у Джей-Би не было ее телефона.

– Ну что ж, – вздохнул Виллем. С другой стороны, что толку писать сообщения Аннике. – Простите, ребята, – сказал он остальным. – Придется по лестнице.

Никто не возражал. Стоял прекрасный осенний день, прохладный, сухой, ветреный, их было восемь человек на довольно умеренное количество коробок и несколько предметов мебели – Виллем и Джей-Би и Джуд и Малкольм, и Ричард, друг Джей-Би, и Каролина, приятельница Виллема, и еще двое их общих друзей, которых звали одинаково, Генри Янг, и чтобы их различать, одного называли Черный Генри Янг, а другого – Желтый Генри Янг.

Малкольм, который неожиданно оказался неплохим организатором, раздавал всем задания. По его команде Джуд поднялся в квартиру и указывал, что куда ставить. В перерыве он распаковывал крупные вещи и открывал коробки. Каролина и Черный Генри Янг, оба невысокие и коренастые, носили коробки с книгами, поскольку они были удобного для них размера. Виллем, Джей-Би и Ричард таскали мебель. А Малкольм и Желтый Генри Янг носили все остальное. На обратном пути они захватывали с собой коробки, которые Джуд сплющивал, и складывали их на краю тротуара возле мусорных баков.

– Помощь нужна? – негромко спросил Виллем Джуда, пока все распределяли работу.

– Нет, – ответил тот отрывисто.

Виллем следил за тем, как Джуд, медленно и спотыкаясь, поднимался по лестнице, пока он не скрылся из виду.

Они легко все втащили, быстро и без особых приключений, и после еще немного послонялись по квартире все вместе, распаковывая книги и поедая пиццу, а потом все разошлись, кто в бар, кто на вечеринку, и Виллем с Джудом остались наконец одни в своей новой квартире. Вокруг царил хаос, но одна только мысль о том, чтобы начать расставлять по местам вещи, их утомляла. И они медлили, удивляясь, что так быстро стемнело и что им теперь есть где жить, да еще на Манхэттене, и они могут себе это позволить. Они оба заметили, как их друзья вежливо сохраняли невозмутимое выражение лиц, когда входили в квартиру (больше всего всех поразила спальня с двумя узкими кроватями, «как в викторианской психушке» – так Виллем описал комнату Джуду), но их все здесь устраивало: это было их жилье, с двухлетним договором, никто его не отнимет. Они даже смогут откладывать немного денег, и зачем им больше места? Конечно, обоим хотелось красоты, но красоте придется подождать. Вернее, им придется подождать ее.

Они разговаривали, но глаза Джуда были закрыты, и Виллем видел – по тому, как постоянно, словно крылья у колибри, дергались его веки, по тому, как кисть судорожно сжималась в кулак и вздувались вены, зеленоватые, словно океанская вода, – что ему больно. Он видел по напряженной неподвижности ног, которые покоились на коробке с книгами, что боль невыносима, и знал, что ничего нельзя сделать, чтобы ее облегчить. Если бы он сказал: «Джуд, давай я дам тебе аспирина», Джуд ответил бы: «Все в порядке, Виллем, мне ничего не нужно», а если бы он сказал: «Джуд, давай ты приляжешь», Джуд ответил бы: «Виллем, все в порядке. Не волнуйся». Так что в конце концов он сделал то, что они все научились делать с годами, когда у Джуда начинали болеть ноги. Он вышел из комнаты под каким-то предлогом, чтобы Джуд мог лежать неподвижно и ждать, пока пройдет боль, не тратя силы на разговор, не притворяясь, что все в порядке, он просто устал, отсидел ногу, или не придумывая другую нелепую отговорку.

В спальне Виллем отыскал большой мусорный мешок, в который они сложили постельное белье, и застелил сначала свой матрас, а потом матрас Джуда (купленный за бесценок неделю назад у тогдашней девушки Каролины, которая с тех пор стала бывшей девушкой). Он рассортировал свою одежду на рубашки, брюки и белье с носками, отведя

каждой категории свою коробку (откуда только что вытащил книги), и засунул коробки под кровать. Одежду Джуда он трогать не стал, а перешел в ванную, где тщательно вымыл все с дезинфицирующим средством, прежде чем раскладывать щетки, пасту, бритвы и шампуни. Раз или два он прерывал работу и заглядывал в гостиную, где Джуд оставался все в том же положении: глаза его были по-прежнему закрыты, руки сжаты в кулаки, а голова повернута так, что Виллем не видел выражения его лица.

Он испытывал к Джуду сложные чувства. Он любил его – тут все было просто, – и боялся за него, и иногда ощущал себя скорее старшим братом и защитником, чем просто другом. Он понимал, что Джуд может жить – и жил – без него, но видел в Джуде нечто такое, то заставляло его остро ощущать собственную беспомощность, и парадоксальным образом от этого еще сильнее хотелось помочь Джуду (хотя тот редко обращался за какой-либо помощью). Они все любили Джуда и восхищались им, но он часто чувствовал, что Джуд подпускает его немного – совсем немного – ближе, чем остальных, и не знал, что ему с этим делать.

Например, боль в ногах: сколько они его знали, у него всегда были проблемы с ногами. Это, конечно, было трудно не заметить: в колледже он ходил с тростью, а когда был моложе (он был совсем юным, когда они познакомились, на целых два года младше их, и все еще рос), мог передвигаться только с костылем и носил ортопедические скобы с ремнями и внешними штифтами, ввинченными прямо в кости, из-за которых у него почти не гнулись колени. Но он никогда не жаловался, ни разу, хотя к чужим жалобам относился сочувственно; на первом курсе Джей-Би поскользнулся на льду, упал и сломал запястье, и всем им запомнилась последующая суеда, театральные стоны и вопли Джей-Би, и как целую неделю после того, как ему наложили гипс, он отказывался выходить из лазарета, и его навещало столько народу, что в конце концов о нем напечатали статью в университетской газете. В их общежитии был парень, футболист, который как-то порвал мениск и утверждал, что Джей-Би просто не знает, что такое боль, но Джуд ходил к Джей-Би каждый день, так же, как Виллем и Малкольм, и Джей-Би получал от него полную меру сострадания.

Однажды ночью, вскоре после того, как Джей-Би наконец соизволил выписаться и вернуться в общежитие, чтобы уже там окружать себя всеобщим вниманием, Виллем проснулся и обнаружил, что комната пуста. В этом не было ничего особенно необычного: Джей-Би был у бойфренда, а Малкольм теперь по вторникам и четвергам ночевал в лаборатории, поскольку в этом семестре слушал курс астрономии в Гарварде. Виллем и сам часто ночевал где-то еще, обычно в комнате у своей девушки, но она подхватила грипп, и в этот раз он остался дома. А Джуд всегда был на месте. У него никогда не было ни девушки, ни бойфренда, он всегда спал здесь, на нижней койке, под Виллемом, его присутствие было неизменным и знакомым, как морской пейзаж.

Виллем сам не знал, что заставило его слезть с койки и встать посреди комнаты, сонно оглядываясь по сторонам, словно Джуд мог лазать по потолку, как паук. Но потом он заметил, что нет костыля, и стал искать Джуда в гостиной, негромко окликая его, а после вышел из их блока и пошел по коридору к общей ванной. После темноты комнат свет в ванной казался тошнотворно ярким, флуоресцентные лампы издавали непрерывное гудение, и он был так дезориентирован, что почти не удивился, увидев, что из-за двери последней кабинки торчит нога Джуда и кончик костыля.

– Джуд? – прошептал он, стуча в дверь кабинки, и когда ответа не последовало, добавил: – Я вхожу. Он распахнул дверь и обнаружил Джуда на полу; одна его нога была согнута и подобрана под живот. У головы разлилась лужица рвоты, рвота оранжевым пунктиром присохла к губам и подбородку. Глаза были закрыты, он был весь в поту и сжимал край костыля с судорожной силой – позже Виллем узнал, что так он делает, когда ему особенно плохо.

В тот момент, однако, в растерянности и испуге, Виллем стал задавать Джуду вопрос за вопросом, хотя тот был не в состоянии отвечать, и только когда он попытался поднять его на ноги, Джуд закричал, и Виллем понял, какую страшную боль тот испытывает.

Кое-как он поднял его и поволок в комнату, неумело привел в порядок и уложил в постель. К тому времени худшее было позади, и когда Виллем спросил, не надо ли позвать врача, Джуд отрицательно помотал головой.

– Джуд, слушай, – негромко проговорил Виллем, – ты же болен, надо обратиться за помощью.

– Мне ничего не помогает, – сказал Джуд и снова замолчал на мгновение. – Просто надо подождать.

Его голос звучал слабо, с придыханием, и казался чужим.

– Что я могу сделать? – спросил Виллем.

– Ничего, – ответил Джуд. Они помолчали. – Но, Виллем... ты можешь побыть со мной еще немного?

– Конечно.

Джуд дрожал, словно в ознобе, и Виллем снял одеяло с собственной кровати и накрыл его. Чуть позже он нашел под одеялом руку Джуда и расцепил его кулак, чтобы сжать влажную жесткую ладонь. Он очень давно не держал за руку мужчину – с тех пор как оперировали его брата – и был удивлен, какой сильной оказалась рука Джуда, какие у него мускулистые пальцы. Еще несколько часов Джуд содрогался в ознобе, стуча зубами, и в конце концов Виллем прилег возле него и заснул.

На следующее утро он проснулся в кровати Джуда; рука ныла, на тех местах, куда впились его пальцы, остались синяки. Он встал, нетвердо держась на ногах, и вошел в гостиную, где Джуд читал что-то за своим столом; черты его были неразличимы в ярком утреннем свете. При появлении Виллема он встал, и некоторое время они просто молча смотрели друг на друга.

– Виллем, прости, пожалуйста, – сказал наконец Джуд.

– Джуд, тут не о чем говорить.

Ему казалось, что это очевидно, но Джуд снова и снова повторял «Прости, прости», и сколько бы Виллем ни убеждал его, что просить прощения совершенно не за что, тот не унимался.

– Пожалуйста, не говори Малкольму и Джей-Би, ладно?

– Не скажу, – пообещал Виллем и сдержал свое слово; впрочем, в конечном счете это не имело значения, поскольку со временем Малкольм и Джей-Би тоже столкнулись с этими его приступами боли, хотя такие длительные приступы, как в ту ночь, случались всего несколько раз.

Он никогда не обсуждал это с Джудом, несмотря на то что в последующие годы видел, как его мучают самые разные виды боли: сильная боль и легкая; он видел, как Джуд кривится от мимолетного приступа, а иногда, когда накатывало особенно сильно, видел, как Джуда рвет, или как он опускается на пол, или просто отключается и ни на что не реагирует, как сейчас в гостиной. Виллем привык держать слово, и все-таки какой-то частью сознания он сам удивлялся, почему никогда не говорит об этом с Джудом, почему не заставит его рассказать, что он чувствует, не смеет сделать то, что сотни раз подсказывал ему инстинкт: сесть с ним рядом, растереть ему ноги, постараться промассировать, унять эти обезумевшие нервные окончания. Вместо этого он прячется в ванной, пытается занять себя уборкой, когда в нескольких метрах от него один из ближайших друзей сидит на безобразном диване и медленно, мучительно, одиноко возвращается в сознание, и никого нет с ним рядом.

– Трус, – сказал он своему отражению в зеркале над раковиной. На него глядело лицо человека, который устал чувствовать отвращение к самому себе. В гостиной по-прежнему

стояла тишина, но Виллем осторожно подошел к порогу, ожидая, когда Джуд вернется к нему.

– Вонючая дыра, – сказал Джей-Би Малкольму, и хотя он был прав – от одного только подъезда волосы вставали дыбом, – но все-таки Малкольм вернулся домой в печали, в который уже раз спрашивая себя, не лучше ли жить в собственной вонючей дыре, чем оставаться в родительском доме.

Конечно, если рассуждать логически, глупо что-то менять: зарабатывает он мало, работает много, дом родителей так велик, что теоретически он мог бы и вовсе с ними не встречаться. Он занимал весь четвертый этаж (который, честно говоря, выглядел немногим лучше вонючей дыры, такой там был бардак – мать давно уже не посылала туда домработницу, после того как Малкольм наорал на нее, утверждая, что Инес сломала один из его макетов) и, кроме того, мог пользоваться кухней, стиральной машиной, мог читать все газеты и журналы, которые выписывали родители, раз в неделю мог сунуть свою одежду в матерчатый мешок, который мать завозила в химчистку по дороге в офис, а Инес забирала на другой день. Конечно, гордиться тут было нечем: ему двадцать семь, а мама все еще звонит ему на работу, делая покупки на неделю, и спрашивает, хочется ли ему клубники и предпочтет ли он на ужин форель или леща.

Было бы легче, если бы родители соблюдали проводимые им границы времени и пространства. Однако они ожидали ежедневного совместного завтрака, совместного обеда по воскресеньям, а также нередко являлись с визитом к нему на этаж, одновременно стуча в дверь и открывая ее, что, как не раз говорил им Малкольм, лишало стук всякого смысла. Он знал, что думать так – черная неблагодарность с его стороны, и все же ему иногда не хотелось идти домой из-за неизбежной светской беседы, которую ему придется пережить, прежде чем он ускользнет к себе наверх, словно подросток. Он с ужасом думал о том, что теперь в его доме не будет Джуда; хотя подвал был более уединенным помещением, чем четвертый этаж, родители усвоили манеру заходить в гости и туда, так что иногда, спускаясь повидаться с Джудом, Малкольм заставал у него отца – тот обычно вещал о чем-нибудь очень скучном. Отец особенно привязался к Джуду и часто говорил Малкольму, что Джуд – человек по-настоящему высокого интеллекта, в отличие от других его друзей, которых он считал пустозвонами, – но теперь ведь ему, Малкольму, придется выслушивать бесконечные рассказы о рынках и глобальных финансовых сдвигах, а также о других абсолютно безразличных ему вещах. Иногда он подозревал, что отец предпочел бы такого сына, как Джуд: даже юридическое образование они получили в одном и том же месте. Джуд начинал референтом у того же судьи, который в свое время был наставником отца на его первой работе. А сейчас Джуд стал помощником прокурора в уголовном отделе федеральной прокуратуры, где отец служил в молодости.

«Попомни мои слова, этот мальчик далеко пойдет» или «Скоро он будет настоящей звездой, а ведь всего добился сам», – то и дело объявлял отец Малкольму и жене с весьма самодовольным видом, будто он как-то приложил руку к талантам Джуда, и в эти минуты Малкольм старался не встречаться взглядом с матерью, поскольку знал, что увидит на ее лице сочувствие.

Если бы Флора по-прежнему жила дома, было бы легче. Когда она собралась съезжать, Малкольм хотел предложить ей вместе снимать облюбованную ею двухкомнатную квартиру на Бетун-стрит, но она то ли искренне не понимала его многочисленных намеков, то ли не хотела понимать. Она была готова уделять родителям то несуразное количество времени, которого они требовали от своих детей, и он подолгу оставался у себя наверху, работая над своими макетами, и реже спускался вниз, где приходилось, ерзая, смотреть нескончаемые европейские короткометражки, которые так любил отец. Когда Малкольм был моложе, его

задевало, что отец явно предпочитает ему Флору – это было очевидно, даже друзья нередко подшучивали по этому поводу. «Фантастическая Флора», так отец называл ее (и еще, на разных этапах ее взросления, «Фасонистая Флора», «Флора-Фрондер», «Флора-Фу-ты-нуты», но это всегда звучало одобрительно), и даже сейчас, когда Флоре было почти тридцать, он относился к ней все с тем же умилением. «Фантастическая Флора отлично сострила сегодня», – сообщал он за ужином так, словно его жена и сын не видели Флору сто лет. Или после бранча поблизости от ее квартиры: «Зачем наша фантастическая дочь уехала так далеко от нас?», хотя до нее можно было добраться на машине за 15 минут. (Это особенно бесило Малкольма, поскольку отец вечно рассказывал ему цветистые истории о том, как он ребенком переехал с Гренадин в Квинс и с тех пор вечно разрывается между двумя странами, и добавлял, что Малкольму тоже нужно уехать и пожить где-то экспатом, потому что это обогатит его как личность, позволит по-новому взглянуть на мир, и так далее, и так далее. Но Малкольм не сомневался, что, если бы Флора вздумала переехать в другой район, не говоря уж о другой стране, отец бы этого не вынес.)

У Малкольма не было прозвищ. Иногда отец звал его по фамилиям других – знаменитых – Малкольмов: «Икс», или «Макларен», или «Макдауэлл», или «Маггеридж» (в честь последнего его предположительно и назвали), но это всегда звучало не как ласка, а как упрек, напоминание, кем он должен быть стать, но явно не стал.

Иногда – даже часто – Малкольм говорил себе, что хватит уже расстраиваться и дуться: ну не нравится он собственному отцу, что ж поделаешь. Даже мать ему это говорила. «Ты знаешь, папуля не хотел сказать ничего плохого», – увещевала она его время от времени, после того как отец произносил очередной монолог о превосходстве Фантастической Флоры, и тогда Малкольм, разрываясь между желанием верить ей и раздражением от того, что она называет отца «папулей», бормотал в ответ что-то в том смысле, что ему плевать. А иногда – все чаще и чаще – он ругал себя, что вообще так много думает о родителях. Нормально ли это? Нет ли в этом чего-то жалкого? Ему двадцать семь, в конце концов! Это так у всех, кто живет дома? Или с ним одним что-то не так? Веский аргумент, что пора переезжать: он перестанет быть таким младенцем. Иногда вечерами, когда родители этажом ниже укладывались спать – старые трубы шумели, пока они умывались, потом наступала внезапная тишина, когда они выключали батареи в гостиной, и все эти звуки лучше всяких часов отсчитывали время: одиннадцать, полдвенадцатого, двенадцать, – он мысленно составлял список тех проблем, которые ему нужно решить в ближайший год, без промедления: работа (ничего не происходит), личная жизнь (не существует), сексуальная ориентация (не определена), будущее (в тумане). Эти четыре пункта оставались неизменными, хотя их расположение по важности могло меняться. Также неизменной оставалась его способность поставить точный диагноз вместе с абсолютной неспособностью найти выход.

На следующее утро он просыпался, полный решимости: сегодня уедет из дому и скажет родителям, чтобы оставили его в покое. Но, спустившись вниз, он видел мать, она готовила ему завтрак (отец к тому времени давно был на работе) и говорила, что собирается сегодня покупать билеты на Сен-Барт, куда они ездили каждый год, и просила решить, на сколько дней он к ним присоединится. (Родители все еще оплачивали за него эти поездки. Он никогда не упоминал об этом в разговорах с друзьями.) «Да, мам», – говорил он. А потом завтракал и выходил в большой мир, где никто не знал его и где он мог быть кем угодно.

2

Впять вечера по будням и в одиннадцать утра по выходным Джей-Би спускался в подземку и ехал в Лонг-Айленд-Сити, к себе в студию. Ездить он больше всего любил по вечерам: садился на «Канал-стрит» и глядел, как на каждой остановке вагон пустеет и наполняется пестрой ртутью разных людей и национальностей, как через каждые десять кварталов пассажиры сбиваются во взрывоопасные неожиданные комбинации: поляки, китайцы, корейцы, сенегальцы – сенегальцы, доминиканцы, индийцы, пакистанцы – пакистанцы, ирландцы, сальвадорцы, мексиканцы – мексиканцы, ланкийцы, нигерийцы, тибетцы, – и роднит их только то, что в Америке все они новички, да лица у них у всех одинаково изможденные; так, решительно и в то же время покорно, глядят только иммигранты.

В такие минуты он с благодарностью думал о том, как ему повезло, и проникался нежностью к своему городу, что случалось с ним нечасто. Обычно он потешался над теми, кто превозносил яркую мозаичность его родного города, сам он был не из таких. Но его восхищало – да и как иначе? – сколько работы, сколько настоящей работы, вне всякого сомнения, проделали сегодня его попутчики. Но вместо того чтобы устыдиться собственного относительного безделья, он чувствовал облегчение.

Своими чувствами, да и то вскользь, он поделился только с одним человеком – Желтым Генри Янгом. Они с ним ехали в Лонг-Айленд-Сити (студию ему как раз Генри и нашел), когда маленький, жилистый китаец, у которого на самом кончике указательного пальца болтался тяжелый оранжево-красный пакет, словно у хозяина не было ни сил, ни желания ухватить его хоть чуть-чуть покрепче, вошел в вагон, плюхнулся на сиденье напротив и, съежившись и скрестив ноги, тотчас же уснул. Генри, которого Джей-Би знал еще со школы – тот был сыном швеи из Чайнатауна и в школе тоже учился на стипендию, – поглядел на Джей-Би и беззвучно, одними губами прошептал: «Кабы не милость Божия», – и Джей-Би прекрасно знал, что он чувствует – смесь радости и стыда.

Ездить по вечерам он любил еще и из-за света, из-за того, как свет, будто живое существо, набивался в поезд, пока вагоны грохотали по мосту, как он смывал усталость с лиц сидевших рядом с ним пассажиров, показывая их такими, какими они были, когда только приехали сюда, когда они были молоды и думали, что Америка им по силам. Он глядел, как добрый этот свет сиропом течет в вагон, разглаживает хмурые лбы, переплавляет седину в золото, как приглушает до дорогого глянца лоснящуюся дешевую ткань. Но потом солнце уплывало, вагон равнодушно катился дальше, и мир снова обретал привычные унылые формы и цвета, а люди – привычный унылый вид, и перемена эта была до того резкой и внезапной, будто совершалась по взмаху волшебной палочки.

Джей-Би любил притворяться, будто он – такой же, как они, хоть и знал, что это не так. Случалось, в вагон заходили гаитяне, и тогда он – вслушиваясь по-волчьи, выцепляя из общего гула тягучие, певучие звуки креольского – принимался глядеть на них, на двух мужчин, круглолицых, как его отец, или на двух женщин с носами-пуговками, как у его матери. Он вечно ждал какого-нибудь уместного повода заговорить с ними – вдруг они примутся обсуждать, как проехать куда-нибудь, а он тогда вклинится и им поможет, – но повода никогда не находилось. Иногда они, не прерывая разговора, поглядывали в сторону сидений, и тогда он весь подбирался, готовясь улыбнуться, но они, похоже, не признавали в нем своего.

Да и не был он своим. Даже он понимал, что у него больше общего с Желтым Генри Янгом, с Малкольмом, с Виллемом или даже с Джудом, чем с ними. Вы только поглядите на него: вышел на Корт-сквер и пошел к себе в студию, которую с другими художниками снимает в трех кварталах от метро, в здании бывшей бутылочной фабрики. Разве настоящие гаитяне снимают студии? Разве настоящему гаитянину придет в голову, что из собственной

большой квартиры, где он чисто теоретически мог бы отгородить себе уголок для рисования-малевания, можно уйти и полчаса провести в подземке (а ведь за тридцать минут можно столько всего переделать!) только ради того, чтобы оказаться в залитой солнцем грязной комнате? Ну конечно нет. Чтобы додуматься до такой роскоши, нужно мыслить как американец.

У студии на третьем этаже, куда вела металлическая лестница, гудевшая под ногами будто колокол, были белые стены и белый пол, впрочем, такой исчерканный, что казалось, будто по нему разбросаны лохматые коврики. По стенам шли пунктиром старомодные высокие створчатые окна, и уж их-то они мыли, все по очереди – на каждого приходилось по стене, – слишком хорош был свет, чтобы прятать его под слоем грязи, только ради света они эту студию и снимали. Здесь была ванная (в ужасном состоянии) и кухня (чуть-чуть попримечнее), а в самом центре студии стоял огромный стол – положенная на тройные козлы плита дешевого мрамора. Стол был общим, им пользовались все, кому нужно было дополнительное пространство для проекта, и теперь мрамор был покрыт лиловыми и золотыми разводами, закапан драгоценным красным кадмием. Сегодня на нем лежали разноцветные ленты из выкрашенной вручную органзы. С обеих сторон они были прижаты книжками – концы лент подрагивали в такт крутившемуся под потолком вентилятору. В центре стола домиком стояла записка: «НЕ ДВИГАЙТЕ. СОХНЕТ. ЗАВТРА ВЕЧ. УЖЕ УБЕРУ. СПС ЗА ПОНИМАНИЕ. Г. Я.»

В самой студии перегородок не было, но она была поделена изолентой на четыре равных части – по пятьсот квадратных футов на каждого, причем синие линии тянулись не только по полу, но и по стенам и по потолку – над головами художников. К чужой территории относились донельзя уважительно, притворялись, будто не слышат ничего, что творится в других углах, даже когда сосед шипел что-то по телефону подружке и слышно было все до единого слова. Тому же, кто хотел зайти в чужое пространство, сначала нужно было встать на краешек синей ленты, тихонько позвать хозяина и, только убедившись, что тот не ушел с головой в работу, попросить разрешения войти.

Свет в половине шестого был идеальный – сливочный, густой и даже как будто жирный, он наполнял студию тем же простором и надеждой, что и вагон подземки. Джей-Би был один. Его сосед, Ричард, по вечерам подрабатывал в баре и поэтому в студии бывал по утрам, как и Али, занимавший угол напротив. Оставался Генри, чей кусок студии находился по диагонали от его, но Генри работал в галерее и приходил только после работы, в семь. Джей-Би снял пиджак, швырнул его в угол, сдернул покрывало с холста и, вздыхая, уселся перед ним на табурет.

Джей-Би работал в студии уже пятый месяц, и ему страшно нравилось, он и представить не мог, что ему это так понравится. Ему нравилось, что студию он делил с настоящими, серьезными художниками; работать у Эзры он бы никогда не смог, и не только потому, что верил любимому профессору, который однажды посоветовал не рисовать там, где трахаются, но и потому, что у Эзры его бы вечно окружали и отвлекали от работы дилетанты. Там искусство было своего рода придатком к образу жизни. Если ты рисовал, лепил или ваял говенные инсталляции, то получал право ходить в застиранных футболках и грязных джинсах, иронично пить дешевое американское пиво, иронично курить иронически дорогие американские самокрутки. Но здесь ты занимался искусством, потому что одно это и умел делать хорошо, потому что на самом деле только об этом и думал меж быстро гаснущих мыслей, свойственных каждому: секс, еда, сон, друзья, деньги, слава. Ты мог подкатывать к кому-нибудь или ужинать с друзьями, а твой холст все это время сидел внутри тебя, и перед твоим внутренним взором покачивались зародыши всех его форм и вариаций. И потом для каждой твоей картины, каждого твоего проекта наступало такое время – по крайней мере, ты надеялся, что оно наступит, – когда жизнь этой картины казалась тебе реальнее жизни

будничной, когда ты только и думал о том, как бы поскорее вернуться в студию, когда ты, сам того не создавая, за ужином высыпал на стол горку соли и чертил ею свои сюжеты, планы и узоры, а белые крупы, будто ил, тянулись за твоими пальцами.

И еще ему нравилось неожиданное, особенное компанейство этого места. Иногда на выходных они оказывались в студии все вместе, и он, оторвавшись от своей картины, будто выныривая из тумана, чувствовал, как они сосредоточены и от усилий дышат резко, почти пыхтят. Он чувствовал, как вся затраченная ими энергия заполняет воздух, будто сладковатый, горючий газ, и ему хотелось закупорить его в бутылку и потягивать потом, когда исчезнет вдохновение, когда он будет часами просиживать перед холстом, как будто, если глядеть на него достаточно долго, холст вдруг с хлопком переродится во что-то мощное и гениальное. Ему нравилось соблюдать ритуалы – встать возле синей линии, тихонько прокашляться, чтобы привлечь внимание Ричарда, а потом переступить границу, и взглянуть на его работу, и вместе с ним молча стоять перед ней, изредка обмениваясь односложными словами, потому что они прекрасно понимали друг друга и без слов. Столько времени уходило на то, чтобы объяснить другим, что такое ты и что такое твоя работа – что она значит, что ты хотел этим сказать, почему ты хотел сказать именно это, почему ты выбрал эти цвета, и эту тему, и эти материалы, и такую технику, и способ нанесения, – и поэтому таким облегчением было очутиться рядом с человеком, которому не надо ничего объяснять и можно просто глядеть и глядеть, а если уж что и спрашивать – так прямо, технично, в лоб. Они как будто обсуждали моторы или водопровод, что-то однозначное и механическое, подразумевавшее всего один или два варианта ответов.

Все они работали в разных жанрах и поэтому не соревновались друг с другом, не боялись, что один видеохудожник, например, начнет выставляться раньше другого, и почти не опасались того, что куратор придет взглянуть на твою работу, а влюбится в работы соседа. Но, кроме того, Джей-Би по-настоящему уважал творчество остальных. Генри делал то, что сам он называл деконструированными скульптурами, – странные, замысловатые икебаны из цветов и веток, которые он мастерил из шелка разных сортов. Но, закончив каждую такую икебану, он вытаскивал из нее проволочный каркас, и скульптура распластывалась по полу, превращаясь в лужу абстрактных цветов, – и один Генри знал, как она выглядела, когда была объемным предметом.

Али был фотографом и работал над проектом под названием «История азиатов в Америке», для которого он сделал серию фотографий – по одной на десятилетие, начиная с 1890-х. Для каждого снимка он подготовил диораму – в сосновых ящиках три на три фута, которые ему сколотил Ричард, – с изображением какого-нибудь эпохального события или важной темы. Он купил в магазине для художников маленькие пластмассовые фигурки и раскрасил их вручную, вылепил из глины и обжег деревья и тропинки и все это поместил в диораму, а фон нарисовал очень тонкой, будто сделанной из ресничек кистью. Затем он сфотографировал все диорамы и отпечатал цветные снимки. Из всех четверых пока только Али нашел галерею, которая согласилась его представлять, и его первая выставка должна была открыться через семь месяцев, но о выставке Али лучше было не спрашивать, потому что при одном упоминании о ней он от волнения начинал заикаться. Работал Али не в хронологическом порядке: он сделал двухтысячные (кишащий парочками Нижний Бродвей, все мужчины белые, за каждым, держась на небольшом расстоянии, идет азиатка), потом восьмидесятые (на парковке двое крошечных белых головорезов избивают разводными ключами крошечного китайца, дно коробки смазано лаком, чтобы было похоже на блестящий после дождя асфальт), а теперь трудился над сороковыми – раскрашивал пятьдесят фигурок мужчин, женщин и детей, которые должны были изображать узников сегрегационного лагеря на озере Туле. Работа Али была самой кропотливой, и поэтому, когда остальные отлынивали от своих проектов, они забредали в угол к Али и усаживались вокруг него, а он, даже не под-

нимая головы от лупы и трехдюймовой фигурки, которой пририсовывал юбку «в елочку» и двухцветные туфли, то протягивал им проволочную губку для мытья посуды, которую нужно было разобрать на мелкие лохмотья, чтобы сделать из них перекасти-поле, то велел вязать узелки на тончайшей проволоке, чтобы она превратилась в колючую.

Но больше всего Джей-Би восхищали работы Ричарда. Тот тоже был скульптором, но работал только с недолговечными материалами. Он рисовал какие-то невообразимые формы на чертежной бумаге, вырезал их из льда, жира, шоколада и затем снимал на видео, как они плавятся. Ричард веселился, наблюдая за тем, как исчезает его труд, но когда Джей-Би в прошлом месяце увидел, как раскрошилась и растеклась массивная восьмифутовая скульптура – распростертое будто парус перепончатое крыло из замороженного виноградного сока, похожего на свернувшуюся кровь, – он чуть было не расплакался, хоть и не знал почему: то ли из-за того, что разрушена такая красота, то ли из-за того, каким пронзительно-будничным было это разрушение. После тающих материалов Ричард увлекся материалами, которые могли бы притягивать насекомых, и особенно его интересовали бабочки, которые, как выяснилось, любят мед. У него перед глазами, рассказывал он Джей-Би, так и стоит скульптура, густо облепленная бабочками, под слоем которых не видно даже очертаний того, что они пожирают. Все подоконники на его стороне были уставлены банками с медом, в которых пористые соты висели словно застывшие в формальдегиде эмбрионы.

Один Джей-Би занимался классическим искусством. Он писал красками. И, что еще хуже, был фигуративистом. Когда он заканчивал учебу, фигуративное искусство вообще никого не интересовало. Видео-арт, перформансы, фотография – все было лучше, чем живопись, и уж тем более живопись фигуративная. «Что в пятидесятых, что сейчас, ничего не поменялось, – вздохнул один профессор в ответ на жалобы Джей-Би. – Помните девиз морских пехотинцев? „Избранные, смелые...“ Вот это про нас, одиноких отщепенцев».

И не скажешь ведь, что он никогда не делал ничего другого, не пробовал себя в других жанрах (вспомнить эту его идиотскую, дутую, сворованную у Мерет Оппенгейм затею с волосами! Опуститься до такой дешевки! Они разругались с Малкольмом – чуть ли не вдрызг, – когда тот назвал его работы «суррогатом Лорны Симпсон» и, что самое ужасное, был совершенно прав), но, пусть Джей-Би никому бы и не признался, что, по его мнению, быть фигуративным художником – это несолидно, и даже как-то по-девчачьи, и уж точно не для черных мужиков, в последнее время он все же смирился с тем, что он и есть такой художник. Он любит портреты, он любит краски, а значит, этим он и будет заниматься.

Ну и дальше что? Он знал – он знает людей, которые в техническом плане куда талантливее его. Они и рисовали лучше и чувство цвета и композиции у них было точнее, и трудолюбия побольше. Не хватало им только идей. Художникам не меньше, чем писателям или композиторам, нужны темы, нужны идеи. А их у него очень долго не было. Поначалу он решил рисовать только чернокожих, но чернокожих и так много кто рисовал, и Джей-Би чувствовал, что ничего нового он тут не изобретет. Принялся было рисовать шлюх, но потом ему и это надоело. Взялся за портреты родственниц, но понял, что опять рисует одних чернокожих. Стал набрасывать сценки из книжек о Тинтине, только изображая героев реалистично, живыми людьми, но вскоре ему показалось, что это уж чересчур иронично и плоско, а потому забросил и их. Так, холст за холстом, он и лентяйничал: рисовал прохожих на улицах, пассажиров в подземке, гостей бесчисленных вечеринок у Эзры (самые неудачные его работы, у Эзры собирались люди, которые одевались и двигались так, будто находятся на сцене, и в итоге на набросках у него выходили одни позирующие девицы да разряженные парни, старательно не глядящие в его сторону), и так продолжалось до того самого вечера, когда он, сидя на унылом диване в унылой квартирке Виллема и Джуда, смотрел, как они готовят ужин, толкаясь на крохотной кухоньке, будто суетливая лесбийская пара. Воскресные вечера Джей-Би редко проводил вне дома, но его мать, бабка и тетки отправились в

пошлейший круиз по Средиземному морю, и он с ними ехать отказался. Но он привык, что по воскресеньям вокруг него толпятся люди, которые готовят ему ужин – настоящий ужин, и завалился без приглашения к Виллему и Джуду, зная, что те будут дома, потому что денег на рестораны у них нет.

Блокнот для набросков он всегда носил с собой, и поэтому, когда Джуд уселся за складной столик и стал резать лук (кухонной стойки в квартире не было, и они все делали на этом столе), Джей-Би практически машинально принялся его рисовать. Из кухни раздался грохот, запахло оливковым маслом, и когда Джей-Би, заглянув туда, увидел, как Виллем с удивительно безмятежным видом отбивает сковородой для омлетов распластанного перед ним цыпленка, то заодно нарисовал и Виллема.

Тогда он и не думал даже, что из этого что-то выйдет, но в следующие выходные взял у Али старый фотоаппарат и сфотографировал всех троих, сначала когда они ужинали в «Фо Вьет Хыонге», а потом – когда шли по заснеженной улице. Дорога была скользкой, и, беспокоясь о Джуде, они шли очень медленно. Он поймал в видоискатель всю шеренгу: Малкольма, Джуда и Виллема. Малкольм и Виллем шли по бокам от Джуда, стараясь держаться к нему поближе, чтобы подхватить, если тот поскользнется (Джей-Би это знал, потому что и сам так ходил), но не слишком близко, чтобы Джуд не догадался, что они готовятся к его падению. Джей-Би вдруг понял, что они об этом никак не договаривались, просто взяли и начали так ходить.

Он сфотографировал их.

– Джей-Би, ты это зачем? – спросил Джуд.

А Малкольм заныл:

– Джей-Би, да хватит уже!

Они тогда шли на вечеринку, которую у себя в лофте на Сентер-стрит устраивала одна их знакомая по имени Мирасоль, они с ней познакомились еще в колледже через ее сестру-близнеца Федру. На вечеринке они все разбрелись по разным группкам, и Джей-Би, помахав рукой Ричарду, стоявшему в другом конце комнаты, и подсадив, что истратил в «Фо Вьет Хыонге» целых четырнадцать долларов, когда Мирасоль тут накрыла щедрый стол и можно было поесть бесплатно, прибил к Джуду, который разговаривал с Федрой, каким-то толстяком – похоже, ее бойфрендом – и тощим бородатым парнем, его Джей-Би узнал, они с Джудом вместе работали. Джуд примостился на спинке дивана, рядом с ним сидела Федра, они оба глядели снизу вверх на толстяка и тощего парня, и все четверо хохотали. Джей-Би их сфотографировал.

Обычно на таких вечеринках он сразу к кому-нибудь кидался, либо кидались к нему, и он обрастал группками по три-четыре человека, мигрируя из одной в другую, собирая сплетни, распуская безобидные слухи, притворно откровенничая и выуживая из собеседников признания о том, кого они ненавидят, в обмен на рассказы о собственных антипатиях. Но в тот вечер он был внимательным, сосредоточенным, почти что трезвым и фотографировал троих своих друзей, которые двигались по своим траекториям, не подозревая даже, что Джей-Би ходит за ними. Пару часов спустя он увидел, что они втроем сгрудились у окна – Джуд что-то говорил, остальные тянулись к нему поближе, чтобы его расслышать, и вдруг все трое так и прыснули со смеху, и Джей-Би, которому удалось поймать оба кадра, возликовал, хоть поначалу и глядел на друзей с досадой и легкой завистью. «Сегодня я – камера, – твердил он себе, – а завтра я снова стану Джей-Би».

Да и, сказать по правде, давно он не получал столько удовольствия от вечеринки, и никто, похоже, и не заметил, что он так весь вечер и проходил за друзьями, за исключением разве что Ричарда. Когда они через час решили выдвинуться в центр (родители Малкольма уехали за город, а Малкольм вроде как знал, где мать прячет траву), Ричард с неожиданной нежностью, по-стариковски похлопал Джей-Би по плечу.

- Что-то нащупал?
- Похоже на то.
- Молодец.

На следующий день он уселся за компьютер и принялся просматривать вчерашние снимки. Камера была так себе, и фотографии вышли нечеткими, мутновато-желтыми, да и резкость Джей-Би наводить не умел, а потому все фигуры на снимках получились слегка размытыми, окрашенными в теплые густые тона, как если бы снимал он через стакан виски. Дольше всего он разглядывал портрет Виллема – его лицо крупным планом, он кому-то улыбается (какой-нибудь девчонке, это ясно) – и снимок Джуда с Федрой, они сидят рядом на диване: на Джуде синий свитер, который они с Виллемом оба надевали так часто, что Джей-Би толком и не знал, чей он, а на Федре бордовое шерстяное платье, она склонилась к Джуду, волосы у нее до того темные, что его волосы от этого кажутся светлее, и на фоне бугристого сине-зеленого дивана оба сияют как в огранке, их цвета – выпуклые, роскошные, кожа – соблазнительная. Такие цвета сразу хочется нарисовать, и он так и поступил – сначала набросал сценку карандашом в блокноте, потом акварелью на картоне и, наконец, акриловыми красками на холсте.

С тех пор прошло четыре месяца, и Джей-Би заканчивал уже одиннадцатое полотно – рекордная для него производительность – со сценами из жизни друзей. Вот Виллем стоит в очереди на прослушивание и напоследок еще раз перечитывает сценарий, уперев одну ногу в липкую кирпичную стену; вот наполовину затемненное лицо Джуда, он смотрит пьесу и улыбается (Джей-Би удалось поймать эту улыбку, правда, его тогда чуть не выгнали из театра); вот Малкольм с отцом сидят на разных концах дивана, Малкольм очень скованный, прямой как струна, вцепился руками в колени – они смотрят бунюэлевский фильм, телевизор остался за кадром. Перепробовав несколько вариантов, Джей-Би остановился на холстах размером со стандартную цветную фотографию – горизонтальные, двадцать на двадцать четыре дюйма – и представлял, как когда-нибудь все они зазмеятся по стенам галереи одной бесконечной полосой и каждое изображение будет следовать за другим так же плавно, как кадры на пленке. Изображения были хоть и реалистичными, но все равно походили на фотографии, он так и ходил с фотоаппаратом Али, не стал покупать ничего получше и старался в каждой своей картине запечатлеть эту легкую размытость, которую на всем оставляла камера, – будто кто-то стряхнул верхний слой резкости, и под ним обнаружилась мягкость, которую не углядишь невооруженным взглядом.

Иногда его одолевали сомнения, и тогда ему казалось, что этот его проект слишком хипстерский, слишком узкий – вот тут ему бы очень пригодился куратор, чтобы напоминать, что не ему одному нравится его работа, что кто-то еще счел ее важной, ну или хотя бы красивой, – но даже тогда он чувствовал, с какой самоотдачей работает, сколько удовольствия и удовлетворения приносит ему эта работа. Иногда он жалел, что на картинах нет его самого. Вся жизнь друзей запечатлена, и его отсутствие – будто огромная дыра, но, с другой стороны, он выходил кем-то вроде бога и с удовольствием играл эту роль. И на друзей он теперь глядел совсем по-другому, не как на довески к собственной жизни, а как на выпуклых персонажей, которые живут в своих личных сюжетах, – иногда ему даже казалось, что после стольких лет знакомства он только сейчас впервые их и увидел.

Где-то через месяц после начала проекта, как только он понял, что точно будет продолжать над ним работать, ему, разумеется, пришлось объяснять, почему он повсюду таскается за друзьями с камерой и фотографирует каждодневные события их жизни и почему для него так важно, чтобы они и дальше позволяли ему фотографировать их и пускали в свою жизнь. Они ужинали во вьетнамской лапшичной на Орчард-стрит – подыскивали замену «Фо Вьет Хьонгу», – и когда он закончил говорить (сильно волнуясь, что было на него совсем не похоже), все поглядели на Джуда. Джей-Би заранее знал, что его нелегко будет уговорить.

Остальные-то согласятся, но ему это никак не поможет. Нужно было, чтобы согласились все, иначе от проекта не будет никакого толку, а Джуд был из них самый застенчивый еще в колледже: когда кто-нибудь пытался его сфотографировать, он отворачивался или закрывал лицо, а стоило ему улыбнуться или засмеяться, как он судорожно, непроизвольно прикрывал рот рукой – на этот жест, от которого он отучился не так давно, всегда было грустно смотреть.

Его опасения подтвердились, Джуд насторожился.

– И что же ты хочешь показывать? – все спрашивал и спрашивал он, и Джей-Би, набравшись терпения, снова и снова уверял его, что, конечно же, он его никак не унизит и его доверием не злоупотребит, что он просто хочет отразить в картинах, как в хронике, течение их жизни. Остальные молчали и не вмешивались, и в конце концов Джуд согласился, хоть и без особой радости в голосе.

– И когда этот проект закончится? – спросил Джуд.

– Надеюсь, что никогда.

Он и вправду на это надеялся. И жалел только о том, что не начал раньше, когда они были совсем молодыми.

Они вышли на улицу, Джей-Би зашагал рядом с Джудом.

– Джуд, – тихо сказал он, чтобы остальные не слышали. – Все картины с тобой... я сначала покажу тебе. Если запретишь, выставять не буду.

Джуд взглянул на него:

– Обещаешь?

– Богом клянусь.

Об этом обещании он тотчас же пожалел, ведь, по правде говоря, именно Джуда он больше всего и любил рисовать. Джуд был самым красивым: у него было самое интересное лицо, самый необычный цвет волос и кожи, и еще из всех троих он был самым стеснительным, поэтому любой его снимок всегда казался ценнее прочих.

В следующее воскресенье Джей-Би, как обычно, пришел домой к матери и стал рыться в коробках с вещами из колледжа, которые стояли в его детской комнате, – он искал одну фотографию и знал, что она точно там лежит. Наконец он ее отыскал – фотографию Джуда-первокурсника, – кто-то сделал снимок, отпечатал, и потом он каким-то образом попал к Джей-Би. Фотография была сделана на кампусе, в их общей гостиной – Джуд стоял впол-оборота к камере. Левую руку он прижал к груди, и на тыльной стороне ладони был виден атласный, похожий на морскую звезду, шрам. В правой руке он неумело держал незажженную сигарету. Одет он был в полосатую бело-голубую футболку с длинными рукавами, вряд ли это была его футболка, до того она была ему велика (хотя, как знать, может, и его – Джуду тогда все было велико, потому что, как выяснилось, он специально покупал одежду на несколько размеров больше, чтобы ее можно было проносить несколько лет, пока он растет), а волосы, которые Джуд тогда отпускал подлиннее, чтобы за ними можно было спрятаться, рванными прядями свисали до подбородка. Но Джей-Би этот снимок запомнился в первую очередь из-за того, какое у Джуда было выражение лица – тогда он на всех глядел с опаской. Он годами не вспоминал об этой фотографии, а теперь глядел на нее с чувством какого-то опустошения, причин которого не мог объяснить.

Над этой-то картиной он сейчас и работал, и ради нее он сменил формат и сделал холст квадратным, сорок на сорок дюймов. Он несколько дней экспериментировал с красками, чтобы получить тот самый переменчивый змеисто-зеленый цвет радужек Джуда, а цвет волос переделывал несколько раз, пока не добился нужного результата. Картина вышла сильная, и он знал это, знал без тени сомнения (так иногда бывает), и он даже не собирался показывать картину Джуду, пусть Джуд увидит ее, когда она уже будет висеть в какой-нибудь галерее, тогда он ничего не сможет с этим поделать. Он знал, что Джуд разозлится, увидев, до чего хрупким, до чего женственным, до чего юным и уязвимым он вышел на картине,

и знал, что тот найдет еще сотню надуманных причин, чтоб придаться к своему изображению, таких причин, которые Джей-Би и в голову бы не пришли, потому что он не такой закомплексованный псих, как Джуд. Но для него эта картина олицетворяла все, чем и должен был по его замыслу стать проект, – это было любовное письмо, это был документ, это была сага, это все было его. Когда он работал над картиной, ему казалось, будто он взмывает вверх, будто мир с галереями, вечеринками, другими художниками и их амбициями сужается под ним до крохотной точки, делается таким маленьким, что можно отбросить его, будто футбольный мяч, одним ударом ноги и глядеть, как он, вертясь, улетает на какую-то дальнюю орбиту, до которой ему нет никакого дела.

Почти шесть. Свет скоро переменится. В студии пока что тихо, хоть Джей-Би и слышал, как вдалеке прогремела электричка. Перед ним был холст, холст ждал. Он взялся за кисть и начал рисовать.

В подземке были стихи. Над лунками пластмассовых сидений, между рекламой дерматологов и курсов дистанционного обучения, висели длинные заламинированные плакаты с поэзией: второсортный Стивенс, третьесортный Рёнке и пятисортный Лоуэлл – фразы, которые никого не заденут за живое, ярость и красота, ужатые до пустых афоризмов.

Так, по крайней мере, считал Джей-Би. Он был против этой затеи со стихами. Они появились, когда он еще учился в школе, и он уже пятнадцатый год на них жаловался.

– Вместо того чтобы финансировать настоящее искусство и настоящих художников, они раздают деньги старым девам – библиотечаршам и педрилам в кардиганчиках, чтоб они сплошное говно выбирали! – орал он, стараясь перекричать визжащие тормоза поезда на линии F. – Сплошную Эдну Сент-Винсент Миллей! А всех приличных – кастрировать. Кстати, заметил, что тут одни белые? Это, блядь, вообще как?

На следующей неделе Виллем увидел плакат со стихами Лэнгстона Хьюза и позвонил Джей-Би.

– Лэнгстона Хьюза?! – простонал Джей-Би. – Дай угадаю: «Что станется с несбывшейся мечтой?», верно? Так и знал! Такое говно не считается. И вообще, если б несбывшиеся мечты и вправду взрывались, это говно через секунду бы исчезло.

Сегодня перед Виллемом висит стихотворение Тома Ганна: «Они так и не пришли к решению / Считать ли их отношения – отношениями». Внизу кто-то приписал черным маркером: «Спокуха, чел, я тож давно не ебался». Он закрывает глаза.

Всего-то четыре часа, а он уже так устал, и это у него еще смена не началась. Не стоило вчера вечером ездить с Джей-Би в Бруклин, но с ним больше никто не хотел ехать, а Джей-Би говорил, что за Виллемом должок, он ведь в прошлом месяце сходил с Виллемом на тот дрянной моноспектакль его друга.

Пришлось пойти.

– Чья это группа? – спросил он, пока они ждали поезда в метро.

Пальто у Виллема было слишком тонким, одну перчатку он потерял, и поэтому, чтобы сбереечь тепло, он засунул ладони под мышки и принялся покачиваться, как всегда делал, если приходилось стоять на холоде.

– Джозефа, – ответил Джей-Би.

– А, – сказал он.

Виллем понятия не имел, кто такой Джозеф. Он восхищался Джей-Би, который с виртуозностью, достойной Феллини, ориентировался в обширном круге своих знакомых, где все были пестро разряженными актерами массовки, а они с Джудом и Малкольмом – нужными, но все равно не самыми главными исполнителями его замысла, монтажерами или младшими художниками-постановщиками, которые без особых напоминаний с его стороны должны были следить, чтобы все шло своим чередом.

– Хардкор, – услужливо добавил Джей-Би, как будто это могло помочь Виллему вспомнить, кто такой Джозеф.

– И как эта группа называется?

– Тут вот какой прикол, – засмеялся Джей-Би. – Она называется «Подзалупный творожок 2».

– Как? – расхохотался Виллем. – «Подзалупный творожок 2»? Почему? И что случилось с «Подзалупным творожком 1»?

– Подхватил стафилококк! – проорал Джей-Би, перебивая шум приближающегося поезда. Стоявшая рядом пожилая женщина сердито на них покосилась.

Ну и конечно, «Подзалупный творожок 2» оказался так себе. Строго говоря, это был и не хардкор вовсе, скорее уж ска – тряский и сбивчивый. («У них что-то со звуком!» – проорал ему на ухо Джей-Би во время очередной затяжной песни «Phantom Snatch 3000». «Да, – прокричал он в ответ, – он у них херовый!») К середине концерта (казалось, будто они каждую песню играют минут по двадцать) Виллем, одурев от тесноты и абсурдной музыки, принялся неумело мошиться с Джей-Би, вдвоем они начали подпихивать соседей и тех, кто стоял рядом, и вскоре толкались уже все вокруг, правда, весело, словно кучка нетрезвых младенцев. Джей-Би ухватил его за плечи, и они хохотали, глядя друг на друга. Виллем совершенно обожал Джей-Би в такие минуты, обожал его умение и готовность вести себя глупо и легкомысленно, потому что ни с Малкольмом, ни с Джудом он так себя вести не мог – Малкольм говорил, конечно, что приличия его не волнуют, но это были только слова, а Джуд просто был серьезный.

Ну и конечно, утром он за это поплатился. Проснулся он в лофте у Эзры, в углу, на голом матрасе Джей-Би (сам Джей-Би смачно храпел на полу, уткнувшись в грудку затхлого белья) и не помнил даже, как они снова оказались на Манхэттене. Обычно Виллем не напивался и не накуривался, но в компании Джей-Би с ним такое иногда случалось. И как же поэтому хорошо было вернуться на Лиспенард-стрит, в чистоту и тишину (Джуд давно ушел), к косым лучам солнечного света, которые с одиннадцати утра и до часу дня пропекали его сторону спальни и уже били в окно. Виллем поставил будильник и мгновенно уснул, а проснувшись, наскоро принял душ, проглотил таблетку аспирина и помчался на работу.

Ресторан, в котором он работал, славился своей кухней – изысканной, но в то же время не слишком затейливой – и хорошо подобранным, приветливым персоналом. В «Ортолане» официантов просили быть радушными без фамильярности и дружелюбными без навязчивости. «У нас тут не „Френдлис“, – любил повторять Финдлей, его босс, управляющий рестораном. – Улыбайтесь, но представляться не надо». Таких правил в «Ортолане» было много. Например, сотрудницам запрещалось носить какие-либо украшения, кроме обручальных колец. Мужчинам запрещено было отпускать волосы, разрешенная длина – до мочек ушей. Никакого лака на ногтях. Бороду – нельзя, щетина – максимум двухдневная. Насчет усов, как и насчет татуировок, решения принимались индивидуально.

Виллем работал официантом в «Ортолане» уже почти два года. До «Ортолана» он обслуживал две смены – обед по будням и бранч по выходным – в шумном и популярном ресторане в Челси, который назывался «Телефончик». Посетители ресторана (чаще всего мужчины, чаще всего немолодые, лет по сорок как минимум) спрашивали, можно ли заказать его, а затем озорно и самодовольно хихикали, будто первыми додумались это спросить и он не слышал этого вопроса уже в одиннадцатый или двенадцатый раз только за текущую смену. Но даже в таких случаях он улыбался и говорил: «Только вприглядку», а они отвечали: «Но я бы хотел чего-нибудь посущественнее», и тогда он снова улыбался, и они оставляли ему щедрые чаевые.

Его друг и однокурсник по имени Роман, тоже актер, порекомендовал его Финдлею, после того как сам ушел из ресторана, получив небольшую роль второго плана в мыль-

ной опере. (Он сказал Виллему, что сомневался, стоило ли на это подписываться, но что тут будешь делать? От таких денег не отказываются.) Виллем был благодарен за рекомендацию, потому что «Ортолан» славился не только кухней и обслуживанием, но и – хоть и не в таком широком кругу ценителей – своим гибким графиком, особенно если ты понравишься Финдлею. Финдлею нравились маленькие плоскогрудые брюнетки, а мужчины – какие угодно, главное, чтобы были высокие, худые и, если верить слухам, лишь бы не азиаты. Виллем иногда останавливался у дверей на кухню и наблюдал за тем, как разнокалиберные пары – миниатюрные темноволосые официантки и долговязые тощие парни – кружились по главному залу, скользя друг мимо друга, будто бестолково подобранные танцоры в менуэтах.

Не все официанты в «Ортолане» были актерами. Точнее, не все в «Ортолане» так и оставались актерами. Были в Нью-Йорке такие рестораны, где люди из актеров, подрабатывающих официантами, каким-то образом превращались в официантов, некогда подрабатывавших актерами. И если ресторан был нормальный, приличный, такая смена карьеры считалась не просто приемлемой, а даже предпочтительной. Официант в хорошем ресторане мог помочь друзьям с бронью столика, мог уболтать кухонный персонал, чтобы те расщедрились на бесплатную еду для этих же друзей (хотя Виллем убедился, что уболтать кухонный персонал куда сложнее, чем ему казалось). Но чем мог помочь своим друзьям актер, который подрабатывал официантом? Раздобыть билеты на очередную экс-экспериментальную постановку, куда надо приходиться со своим костюмом, потому что ты играешь брокера, который то ли зомби, то ли не зомби, а на костюмы денег все равно нет? (Именно это и случилось в прошлом году, когда ему пришлось одалживать деловой костюм у Джуда, потому что своего у него не было. Ноги у Джуда были длиннее примерно на дюйм, поэтому, пока он играл в пьесе, штанины приходилось подворачивать и подклеивать изнутри малярным скотчем.)

Актеров в «Ортолане» было нетрудно отличить от бывших актеров, которые теперь делали карьеру официанта. Официанты, например, были постарше и с придирчивой дотошностью следили за соблюдением всех Финдлеевых правил, а когда весь персонал собирался за ужином, они демонстративно крутили бокалы с вином, которое им наливал на пробу помощник сомелье, и говорили что-нибудь вроде: «Немного напоминает пти сира Линн Калодо, который ты на прошлой неделе подавал, верно, Хосе?» или «Какая-то минеральность во вкусе, вам не кажется? Это что, Новая Зеландия?» Само собой, на свои постановки таких не звали, приглашать можно было только таких же актеров-официантов, и если они приглашали тебя, нужно было хотя бы постараться сходить, это считалось хорошим тоном – ну и конечно, никаких агентов, никакие прослушивания, ничего такого ты с ними не обсуждал. Актерство было войной, а они – ветеранами. Они не желали вспоминать о войне и уж точно не желали разговаривать о ней с юнцами, которые всё рвались в окопы, всё радовались, что попали на фронт.

Финдлей и сам когда-то был актером, но, в отличие от других бывших актеров, он любил рассказывать – впрочем, «любил», наверное, будет не самым подходящим словом, вернее всего будет просто «рассказывал» – историю своей жизни, ну или какую-то ее версию. Если верить Финдлею, то однажды он почти, почти получил главную роль второго плана в пьесе «Светлая комната под названием день», которую ставил Публичный театр (потом одна официантка рассказала им, что все серьезные роли в этой пьесе – женские). Он был во втором составе какой-то бродвейской постановки (какой именно, он никогда не уточнял). Финдлей был ходячим *memento mori* актерской карьеры, назидательной притчей в сером шерстяном костюме, и актеры-официанты либо избегали его, словно его участь была заразной, либо внимательно к нему приглядывались, как будто надеялись себя обеззаразить тесным контактом.

Но когда именно Финдлей решил забросить актерскую карьеру и как это случилось? Просто возраст подошел? Он ведь все-таки был старый – лет сорок пять, а то и пятьдесят, где-то так. И как понять, что все – пора сдаваться? Когда тебе, например, тридцать восемь, а ты до сих пор не обзавелся агентом (как, похоже, вышло с Джоэлом)? Или когда тебе сорок, а ты так и снимаешь квартиру на двоих с другом и официантом на полставки заработал больше, чем за весь тот год, когда решил полностью сосредоточиться на актерской карьере (как было с Кевином)? Или когда ты толстеешь, лысеешь или делаешь неудачную пластическую операцию, которая никак не может замаскировать того, как ты толстеешь и лысеешь? Когда упорная погоня за мечтой перестает быть храбростью и становится безрассудством? Как понять, что пора остановиться? В прежние времена – более строгие, отрезвляющие (но от которых в результате было куда больше толку) – все было гораздо проще: ты завязывал со всем в сорок, или после свадьбы, или когда появлялись дети, или через пять, через десять или пятнадцать лет. Тогда ты устраивался на настоящую работу, а все твои мечты об актерской карьере тускнели и становились историей, растворяясь в ней так же незаметно, как кубик льда в горячей ванне.

Но сейчас настала эра самореализации, сейчас довольствоваться тем, к чему душа изначально как-то не лежала, – мелко и слабохарактерно. Теперь в том, чтобы покориться судьбе, нет ничего достойного, теперь это считается трусостью. Иногда казалось, что тебя почти физически принуждают быть счастливым, как будто счастливым может и должен быть каждый, и если в поисках счастья ты вдруг решишь чем-нибудь поступиться, то вроде как сам же и будешь в этом виноват. Будет ли Виллем и дальше год за годом работать в «Ортолане», ездить в одних и тех же электричках на прослушивания, снова, и снова, и снова зачитывать какие-то реплики, ради того, чтобы когда-нибудь по-черепашьи проползти вперед на дюйм-другой, но сдвиг будет таким ничтожным, что его и сдвигом-то не назовешь? И хватит ли у него тогда смелости сдаться, сумеет ли он вовремя остановиться или, проснувшись однажды, взглянет на себя в зеркало и поймет, что он старик, который упорно зовет себя актером, потому что когда-то побоялся признать, что он не актер и никогда им не будет?

Джей-Би говорил, что Виллему мешает стать знаменитым сам Виллем. Джей-Би любил читать ему нотации, которые он обычно начинал с фразы: «Мне бы твою внешность, Виллем...», а заканчивал так: «Ты избалован вниманием, Виллем, ты привык, что тебе все само плывет в руки, и думаешь теперь, что и тут все как-нибудь само собой образуется. Но знаешь что? Ты, конечно, красавец, но тут все красавцы, так давай-ка уже, поднапрягись!»

Виллем, конечно, думал, что из уст Джей-Би это звучит по меньшей мере комично (это он-то избалованный? Да пусть на женщин своих посмотрит, которые над ним кудахчут, закармливают любимой едой, наглаживают ему рубашки, окружают плотным облаком любви и комплиментов: однажды Виллем подслушал, как Джей-Би звонит матери и просит постирать ему трусов побольше, он их заберет, когда приедет в воскресенье ужинать, и, кстати, на ужин он хочет ребрышки), но в то же время он понимал, что Джей-Би имеет в виду. Он знал, что он не лентяй, но, по правде сказать, он и не был таким честолюбивым, как, например, Джей-Би с Джудом, не было в нем того мрачного, ожесточенного упрямства, из-за которого они засиживались дольше всех в студии или офисе, из-за которого взгляд у них делался слегка отсутствующим – Виллему всегда казалось, что какая-то их частица уже живет в этом их воображаемом будущем и очертания этого будущего пока что видны только им одним. И честолюбие Джей-Би держалось на том, как он рвался в это будущее, как страстно его желал, а Джуд, думал Виллем, скорее боялся, что если не будет двигаться вперед, то обязательно скатится назад, к прошлой жизни, о которой он ничего им не рассказывал. Эти качества были присущи не только Джуду с Джей-Би: Нью-Йорк был населен честолюбивыми людьми. Зачастую только одна эта черта и объединяла его жителей.

Амбиции и атеизм: «Я исповедую только честолюбие», – как-то поздно вечером, за пивом, сообщил ему Джей-Би, и хотя Виллему эта реплика показалась слишком уж гладкой, словно Джей-Би ее репетировал, изо всех сил стараясь отшлифовать безыскусную небрежность фразы, чтобы когда-нибудь произнести ее всерьез в интервью, он также знал, что Джей-Би говорит искренне. Только здесь ты начинал думать, будто карьерой можно оправдать почти любое безумие, только здесь приходилось оправдываться за то, что веришь во что-то кроме себя.

Здесь ему вечно казалось, будто он не понимает чего-то важного и из-за своей глупости навеки обречен работать в «Ортолане». (Он и в колледже твердо верил, что он – самый тупой ученик в классе, которого туда приняли, чтобы политкорректно выполнить квоту по белым чудаковатым деревенским парням.) Он думал, что и другим тоже так казалось, хотя по-настоящему беспокоило это, похоже, одного Джей-Би.

«Я, Виллем, иногда не знаю даже, что про тебя думать», – однажды сказал ему Джей-Би, и по его тону было ясно, что ничего хорошего Джей-Би подумать не мог. Разговор этот состоялся у них в конце прошлого года, вскоре после того, как Меррит, бывший сосед Виллема по комнате, получил одну из двух ведущих ролей в экспериментальной постановке «Однажды в Калифорнии». Вторая главная роль досталась актеру, который недавно снялся в инди-фильме, собравшем хорошие отзывы, и теперь в его карьере наступил тот недолгий, но приятный период, когда у него появилась и артхаусная известность, и перспектива более мейнстримного успеха. Режиссер (с которым Виллем очень хотел поработать) пообещал, что на одну из главных ролей возьмет неизвестного актера. Он и взял – только этим неизвестным актером оказался Меррит, а не Виллем. До финального прослушивания дошли оба.

Его друзей это страшно возмутило. «Да Меррит даже играть не умеет, – стонал Джей-Би. – Он просто стоит на сцене, звездит и думает, что этого достаточно». Трое друзей Виллема стали вспоминать, когда они последний раз видели Меррита на сцене – в авангардистском театрике на постановке «Травиаты», где все роли исполняли мужчины, а действие было перенесено в восьмидесятые, на Файр-Айленд (Виолетту, которую играл Меррит, переименовали в Виктора, и умер он от СПИДа, а не от чахотки), – и все сошлись на том, что смотреть на это было невыносимо.

– Ну, он и впрямь хорош собой, – вяло защищал Виллем бывшего соседа по квартире.

– До тебя ему далеко! – сказал Малкольм до того запальчиво, что все удивились.

– Виллем, у тебя все получится, – утешал его Джуд, когда они возвращались домой после ужина. – Если в мире есть хоть капелька справедливости, все у тебя получится. А этот режиссер – придурок.

Джуд никогда не винил Виллема в его промахах, зато Джей-Би винил его всегда. Что хуже, Виллем и сам не знал.

Конечно, он был признателен друзьям за их возмущение, но, по правде сказать, сам не считал Меррита таким уж плохим актером. Он уж точно был ничем не хуже Виллема, а может, даже и лучше. Так он потом и сказал Джей-Би, который, услышав это, сначала долго и неодобрительно молчал, а потом принялся читать Виллему нотацию.

– Я, Виллем, иногда даже не знаю, что про тебя и думать, – начал он. – Иногда мне кажется, будто ты вообще не хочешь быть актером.

– Неправда, – возразил он. – Просто я не считаю каждый отказ чепухой и не думаю, что если кто-нибудь меня обошел, то это потому, что ему просто повезло.

Джей-Би снова замолчал.

– Слишком ты добрый, Виллем, – наконец мрачно сказал он. – Так ты ничего не добьешься.

– Ну спасибо, Джей-Би, – ответил он.

Он редко обижался на Джей-Би, потому что тот частенько оказывался прав, но именно тогда Виллему не очень хотелось выслушивать, что именно Джей-Би думает о его недостатках и какое мрачное будущее его ждет, если он полностью себя не переделает. Он повесил трубку и долго не мог заснуть, чувствуя, что зашел в тупик, и жалея себя.

Но как бы там ни было, а переделать себя он никак не мог – да и не поздно ли уже меняться? Ведь до того, как вырасти в доброго мужчину, Виллем был добрым мальчиком. Это все отмечали: учителя, одноклассники, родители одноклассников. «Виллем – очень отзывчивый ребенок», – писали учителя в его табелях, в табелях, на которые его мать с отцом взглядывали всего раз, мельком, не говоря ни слова, после чего засовывали их в стопку газет и пустых конвертов, а потом относили все в пункт приема макулатуры. Став постарше, Виллем понял, что его родители удивляли и даже огорчали окружающих, а как-то раз, в старших классах, учитель, не сдержавшись, заметил, что, зная характер Виллема, представлял себе его родителей совсем другими.

– Другими – какими? – спросил он.

– Более дружелюбными, – ответил учитель.

Сам Виллем не считал себя каким-то особенно великодушным или очень уж добрым человеком. Обычно ему все давалось легко: спорт, учеба, дружба, девчонки. И это не значит, что он был со всеми мил – никому в друзья он не лез и не выносил грубости, мелочности и подлости. Он знал, что он скромный, трудолюбивый и усердный – но далеко не гений. «Знай свое место», – то и дело твердил ему отец.

Отец его свое место знал. Виллем помнил, как однажды из-за заморозков поздней весной на местных фермах погибло много ягнят и журналистка брала у отца интервью для материала о том, как это отразится на фермерах.

– Вот вам как фермеры... – начала было журналистка, но отец Виллема оборвал ее.

– Я не фермер, – сказал он. Акцент у него был такой, что слова эти – как и каждое его слово – прозвучали куда отрывистее, чем он их сказал. – Я работаю на ферме.

Разумеется, он был прав. Слово «фермер» означало нечто конкретное – землевладелец, – и в этом смысле фермером он не был. Но тогда в их округе куча народу не имела права называться фермерами, а они все равно так себя называли. Виллем ни разу не слышал, чтоб отец их за это осуждал – отцу было все равно, что там делали или не делали окружающие, – но ни он сам, ни его жена, мать Виллема, себе таких приукрашиваний позволить не могли.

Наверное, поэтому ему и казалось всегда, что он все о себе давно понял, и даже по мере того, как расстояние между ним и фермой его детства росло и ширилось, он все равно не чувствовал никакой нужды в том, чтобы перекраивать и переделывать себя. Он и в колледже был гостем, и в университете, и вот теперь оказался гостем в Нью-Йорке, в жизни богатых и красивых людей. Он ни за что не стал бы притворяться, будто все это может принадлежать ему по праву, потому что знал – ничего ему не принадлежит. Он был родом из западного Вайоминга, его отец работал на ферме, и если Виллем оттуда и уехал, это вовсе не значит, что его прошлое разом испарилось, что время, опыт и близость к деньгам разом это прошлое переписали.

У родителей он был четвертым ребенком и единственным, кто выжил. Первой была девочка, Бритте, которая в два года умерла от лейкемии, задолго до того, как Виллем появился на свет. Это случилось в Швеции, где его отец – исландец, работавший в рыболовном хозяйстве, – познакомился с его матерью, датчанкой. Затем они перебрались в Америку, где у них родился сын, Хемминг, который был болен ДЦП. Через три года появился сын Аксель – он умер еще младенцем, во сне, и никто так и не понял, от чего именно.

Когда родился Виллем, Хеммингу было восемь. Он не мог ни ходить, ни разговаривать, но Виллем любил его, для него он всегда оставался старшим братом. Хемминг, правда, умел

улыбаться, и, улыбаясь, он подносил руку к лицу, растопырявая пальцы утиным клювом и растягивая губы, за которыми виднелись воспаленно-розовые десны. Виллем выучился ползать, потом ходить, потом бегать, а Хемминг год за годом так и сидел в кресле, и когда Виллем подрос и окреп, он принялся таскать Хемминга в кресле на неповоротливых колесах с толстыми резиновыми шинами (предполагалось, что человек в этом кресле будет сидеть, а не ездить по траве и грязи) по всей ферме, вокруг деревянного домика, где они жили с родителями. На холме перед их домом возвышалась усадьба – вытянутая, приземистая, с широкой террасой, огибавшей все здание, а если пойти вниз по дороге, можно было попасть на конюшни, где работали их родители. Пока Виллем учился в школе, он был Хеммингу и сиделкой, и компаньоном. По утрам он первым вставал, варил родителям кофе и кипятил воду для Хемминговой овсянки, а по вечерам выходил на дорогу встречать фургон, в котором его брата привозили из дневного пансионата для инвалидов, находившегося в часе езды от их дома. Виллем всегда думал, что они с братом очень похожи – у обоих были блестящие светлые волосы, такие же, как и у родителей, и глаза у обоих были серыми, как у отца, и у обоих в левом уголке рта была длинная впадинка-скобка, из-за которой вид у них был такой, будто их все забавляет и они вот-вот улыбнутся, – но кроме него этого сходства никто не замечал. Люди видели только коляску Хемминга, и влажно-красный овал его вечно раскрытого рта, и его глаза, которые чаще всего глядели куда-то в небо, следя за видимым одному ему облаком.

– Что ты там видишь, Хемминг? – иногда спрашивал Виллем брата во время их вечерних прогулок, но Хемминг, разумеется, никогда ему не отвечал.

Родители с Хеммингом управлялись расторопно и умело, но, как понимал Виллем, без особой любви. Когда Виллем задерживался в школе – на футбольном матче или забеге – или когда ему нужно было сверхурочно поработать в местном супермаркете, мать встречала Хемминга у дороги, затаскивала его в ванну и потом вытаскивала оттуда, мать кормила его ужином – рисовой кашей с курицей – и меняла ему подгузник, перед тем как уложить в кровать. Но она не читала ему, не разговаривала с ним и не гуляла с ним так, как делал Виллем. Его беспокоило отношение родителей к Хеммингу – упрекнуть их было не в чем, однако Виллем чувствовал, что они считают себя в ответе за Хемминга, но не более того. Потом он еще будет себя уверять, что глупо было бы ждать от них чего-то еще, что это было бы чудом. Но все равно. Виллему хотелось бы, чтобы они больше любили Хемминга, чуть-чуть побольше.

(Хотя, как знать, может, он слишком многого хотел, когда просил их любви. Они столько детей потеряли, что, возможно, попросту не желали или не могли полностью посвятить себя тем, кто выжил. Ведь в конце концов они с Хеммингом тоже их покинут, не важно, по собственной воле или нет, и тогда они потеряют их всех. Но эта мысль пришла ему в голову только спустя много-много лет.)

Когда Виллем был на втором курсе колледжа, Хеммингу пришлось срочно вырезать аппендикс. «Говорят, как раз вовремя успели», – сообщила ему по телефону мать. Говорила она безучастно, очень деловито, и в ее голосе не слышалось ни тревоги, ни облегчения – впрочем, не слышалось в нем (пусть и не хочется, и страшно об этом думать, но подумать все же пришлось) и разочарования.

Сиделка Хемминга, местная жительница, которой после отъезда Виллема они платили за ночные дежурства, заметила, что он шлепает себя по животу и стонет, и, нащупав у него в боку под ребрами твердый грибообразный узелок, сумела распознать аппендицит. Во время операции врачи обнаружили на толстой кишке небольшой нарост, длиной в пару сантиметров, и сделали биопсию. После рентгена выяснилось, что таких наростов несколько, и врачи собирались их тоже вырезать.

– Я приеду, – сказал он.

– Не надо, – сказала мать. – Ты тут ничем не сможешь. Если там что-то серьезное, мы тебе скажем.

Когда Виллем сообщил им с отцом, что его зачислили в колледж, они были пожалуй что ошарашены – они даже не знали, что он подавал документы, но когда он уехал учиться, они твердо решили, что он обязательно должен получить диплом и поскорее выкинуть ферму из головы.

Но он всю ночь думал о Хемминге, как он лежит там один на больничной койке, как ему страшно, как он плачет и прислушивается, не раздастся ли голос Виллема. В двадцать один год Хеммингу удалили грыжу, и он перестал плакать, только когда Виллем взял его за руку. Он знал, что должен поехать домой.

Билеты на самолет стоили дорого, гораздо дороже, чем он думал. Он стал прикидывать, можно ли добраться на автобусах, но тогда он потратит три дня на дорогу туда и три дня на дорогу обратно, а тут как раз середина семестра и экзамены, которые нужно сдать, и сдать хорошо, иначе он потеряет стипендию, и подработку тоже надолго не оставишь. В конце концов, напившись в пятницу вечером, он рассказал обо всем Малкольму, и тот вытащил чековую книжку и выписал ему чек.

– Я так не могу, – сразу отказался он.

– Это почему? – спросил Малкольм.

Они долго препирались, пока наконец Виллем не взял чек.

– Я все верну, ты мне веришь?

Малкольм пожал плечами:

– Свинство, конечно, с моей стороны так говорить, – сказал он, – но я этого даже не замечу.

Но Виллем решил, что обязательно придумает, как вернуть Малкольму долг, хоть и знал, что Малкольм у него денег ни за что не возьмет. Джуд посоветовал ему класть деньги Малкольму прямо в бумажник, и поэтому раз в две недели Виллем, обналичив зарплатный чек из ресторана, где работал по выходным, засовывал туда две-три двадчатки, пока Малкольм спал. Он даже не знал, замечал ли это Малкольм – тот тратил деньги очень быстро и часто платил за всех, – но Виллем все равно был очень доволен и горд собой.

Тем временем надо было что-то делать с Хеммингом. Виллем был рад, что съездил домой (мать только вздохнула, когда он сказал, что приедет), и рад был повидать Хемминга, хоть и ужаснулся тому, как он исхудал и как он стонал и плакал, когда медсестры пальпировали ему живот вокруг швов, – Виллем сидел, вцепившись в стул обеими руками, изо всех сил сдерживаясь, чтобы на них не наорать. По вечерам он ужинал с молчавшими родителями и почти ощущал, как они отстраняются от него, как будто бы сдирают с себя жизнь, в которой они были родителями двоих детей, и готовятся принять какое-то другое, новое обличье.

На третий вечер он взял ключи от машины и поехал в больницу. Это на востоке уже наступила ранняя весна, здесь же темный воздух, казалось, сверкал от мороза, а по утрам трава покрывалась тонкой хрустальной кожицей.

Когда он уходил, на крыльцо вышел отец.

– Он уже спит, – сказал он.

– Я просто хочу к нему съездить, – сказал Виллем.

Отец взглянул на него.

– Виллем, – сказал он, – он не поймет, приезжал ты или нет.

Он почувствовал, как кровь прилила к лицу.

– Я знаю, что вам на него насрать, – прошипел он, – но мне – нет.

Он первый раз в жизни выругался при отце и на мгновение застыл, с ужасом и отчасти с восторгом ожидая, вдруг отец ему ответит, вдруг у них выйдет спор. Но отец только отхлебнул кофе, развернулся и ушел в дом, тихонько прихлопнув за собой дверь-сетку.

И все оставшееся время они вели себя точно так, как и прежде, – все поочередно дежурили у Хемминга в больнице, а вернувшись оттуда, Виллем помогал матери с бухгалтерией или отцу на конюшнях, где тот следил за переподковкой лошадей. По вечерам он возвращался в больницу и готовился к экзаменам. Он читал Хеммингу вслух «Декамерон», а Хемминг лежал, уставившись в потолок и моргая. Он продирался сквозь задания по матанализу, но решал их с тоскливой уверенностью, что все делает неправильно. Они привыкли, что математику за всех троих делал Джуд, который шелкал задачки так быстро, будто брал арпеджио. Когда они учились на первом курсе, Виллем искренне хотел сам во всем разобраться, и Джуд на протяжении нескольких вечеров старательно ему все растолковывал, но он так и не сумел ничего понять.

– Мне этого никогда не понять, я слишком тупой, – сказал он однажды после занятия, которое показалось ему многочасовым, – под конец Виллему хотелось только одного: выскочить на улицу и долго-долго бежать, так его трясло от раздражения и досады.

Джуд опустил глаза.

– Ты не тупой, – тихо сказал он. – Просто я не очень хорошо объясняю.

Джуд ходил на семинары по высшей математике, куда попасть можно было только по приглашению, – остальные даже и не пытались понять, чем именно он там занимался.

Теперь же удивительным казалось только то, что он вообще удивился, когда три месяца спустя ему позвонила мать и сообщила, что Хемминг в реанимации, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Был конец мая, экзаменационная сессия в разгаре. «Не приезжай, – сказала она ему, приказала даже. – Не надо, Виллем». С родителями он говорил по-шведски, и только через много лет, когда шведский режиссер, у которого Виллем снимался, отметил, каким безжизненным голосом он говорит на этом языке, Виллем понял, что, сам того не замечая, в разговоре с родителями подлаживался под их тон и начинал говорить как они, сухо и безучастно.

Следующие несколько дней он ходил сам не свой, экзамены сдавал кое-как: французский, сравнительное литературоведение, якобинская драма, исландские саги, ненавистный матанализ – все смешалось в кучу. Он затеял ссору с подружкой, которая была старше его и заканчивала колледж. Она расплакалась, он знал, что виноват, и знал, что не в силах ничего исправить. Мысленно он был в Вайоминге, представлял себе аппарат, который сплевывает жизнь в легкие Хемминга. Ему ведь надо поехать домой? Он должен поехать домой. Надолго не получится: пятнадцатого июня они с Джудом съезжали из общежития на лето и перебирались в съемное жилье, им обоим удалось найти работу в городе, Джуд по будням будет работать секретарем у профессора классической филологии, а по выходным – в кондитерской, где он подрабатывал и во время учебы. Виллем будет помощником преподавателя в школе для детей-инвалидов, но перед этим все четверо собирались в Аквинну, на Мартас-Виньярд, и погостить в доме родителей Малкольма, после чего Малкольм и Джей-Би на машине возвращались в Нью-Йорк. По вечерам он звонил Хеммингу в больницу, просил родителей или медсестер поднести трубку к его уху и разговаривал с братом, хотя и понимал, что тот, скорее всего, его не слышит. Но как тут было не попытаться?

А потом, через неделю, утренний звонок от матери – Хемминг умер. Он не смог ничего сказать. Не смог спросить, почему она не сообщила ему, что дела обстоят так плохо, потому что в глубине души всегда знал: она не сообщит. Не смог пожалеть о том, что его с ними не было, потому что знал: на это она ничего не ответит. Не смог спросить, как она, потому что ни один ее ответ его не устроит. Ему хотелось наорать на родителей, ударить их, вытрясти из них хоть что-то – чтоб горе хоть немного сломало их, чтоб они хоть ненадолго утратили самообладание, чтобы хоть как угодно, но признали, что случилось нечто огромное, что со смертью Хемминга они потеряли что-то важное и нужное в жизни. И ему было наплевать, прочувствуют они это на самом деле или нет, ему нужно было, чтобы они это сказали, нужно

было ощутить, что под их непроницаемым спокойствием есть хоть что-нибудь, что у них где-нибудь внутри все-таки бежит тоненький, быстрый, прохладный ручеек, полный хрупких жизней, мелкой рыбешки, травы и крохотных белых цветов, таких нежных, ломких, уязвимых, что на них нельзя взглянуть без боли.

Тогда он не сказал друзьям о Хемминге. Они поехали к Малкольму – дом стоял в красивом месте, ничего красивее Виллем и не видел никогда и уж тем более ни разу в таком месте не жил, – и по ночам, когда все засыпали в отдельных кроватях, в отдельных комнатах с отдельными ванными (такой это был большой дом), он тихонько выбирался наружу и часами бродил по дорожкам, которые паутиной окружали дом, и луна была такой огромной и яркой, словно ее сделали из какой-то замерзшей жидкости. Во время этих прогулок он изо всех сил старался ни о чем не думать. Вместо этого он сосредоточивался на том, что видел, подмечая ночью все, что ускользало от него днем: какая мягкая тут земля, почти как песок, как она испаривается у него из-под ног крохотными струйками, как в кустах, мимо которых он проходит, бесшумно, тоненькими ленточками, мелькают коричнево-коричневые змеи. Он доходил до океана, и луна над ним исчезала, скрывалась в лохмотьях облаков, и несколько мгновений он не видел воды, только слышал ее, и небо от влаги делалось плотным и теплым, как будто сам воздух здесь был гуще, существеннее.

Может быть, так оно и бывает, когда умрешь, подумал он и понял, что, кажется, это не так уж и плохо, и ему стало легче.

Он боялся, что ему трудно будет провести все лето с детьми, которые могли напомнить ему Хемминга, но оказалось, это очень хорошо и даже полезно. В его классе было семеро учеников, всем лет по восемь, все с серьезными проблемами, передвигаться самостоятельно не мог никто, но, хотя большая часть дня у него вроде бы уходила на то, чтобы научить их различать цвета и формы, на самом деле он почти все время с ними играл: читал им, возил по школьному парку, щекотал перышками. На переменах двери всех школьных кабинетов открывались, и главный двор заполнялся детьми в таких хитроумных устройствах на колесах, в креслах и колясках, что казалось, будто его заполонили механические насекомые, которые поскрипывали, жужжали и щелкали все разом. Здесь были дети в инвалидных креслах и дети на мини-мопедах, которые, подпрыгивая и постукивая, катились по плиткам с черепашей скоростью, здесь были дети, пристегнутые к длинным, гладким доскам на колесиках, напоминавшим укороченные доски для серфинга, и дети, которые ползали по земле, подтягиваясь на обмотанных култях, и дети без каких-либо средств передвижения, которые просто сидели на коленях воспитателей, а те придерживали им головы. Такие больше всего напоминали ему о Хемминге.

Некоторые дети, из тех, что ездили на мопедах и досках с колесиками, могли говорить, и Виллем очень осторожно перебрасывался с ними большими пенопластовыми мячами и устраивал им забеги во дворе. Каждый забег начинался с того, что он бежал впереди всех детей, передвигаясь широкими, нарочито медленными скачками (но не настолько нарочитыми, чтобы это выглядело совсем уж смешно: он хотел, чтобы они думали, будто он и впрямь с ними бежит), но в какой-то момент, обычно, когда они пробегали где-то треть пути, он притворялся, будто споткнулся обо что-то, и картинно шлепался на землю, и дети с хохотом проезжали мимо него. «Вставай, Виллем, вставай!» – кричали они, и он вставал, но к этому моменту они все уже успевали приехать к финишу, и он приходил последним. Иногда он думал, не завидуют ли дети тому, с какой легкостью он может упасть и снова встать, и если завидуют, не стоит ли ему перестать так делать, но когда он спросил об этом своего начальника, тот только взглянул на Виллема и сказал, что детей он веселит и чтоб падал дальше. И поэтому он каждый день падал, и каждый вечер, пока они с учениками ждали родителей, которые забирали их из школы, умевшие разговаривать дети спрашивали его, упадет ли он и

завтра. «Ни за что! – уверенно отвечал он хихикавшим детям. – Вы что, смеетесь надо мной? Думаете, я и вправду такой неуклюжий?»

Во многом то было прекрасное лето. Их квартира находилась рядом с Массачусетским технологическим институтом, владельцем ее был профессор, который преподавал у Джуда математику: сам он на лето уехал в Лейпциг, а с них брал такую маленькую арендную плату, что они оба стали понемножку ремонтировать его жилье, чтобы хотя бы таким образом выразить свою благодарность. Джуд рассортировал книги, покосившиеся стопки которых торчали небоскребами на каждом шагу, грозя вот-вот рухнуть, и ошпаклевал вздувшийся от сырости кусок стены. Виллем подкрутил дверные ручки, поменял прокладки в подтекающих кранах, заменил клапан в бачке унитаза. Он начал встречаться с девушкой, которая училась в Гарварде и тоже работала ассистенткой преподавателя в его школе, и по вечерам она иногда заходила к ним, они готовили огромный котелок спагетти с мидиями, а Джуд рассказывал им, что профессор, у которого он работал, решил общаться с ним только на латыни или древнегреческом, даже когда речь шла о просьбах вроде «У меня закончились зажимы для бумаги» и «Не забудь завтра утром попросить, чтобы мне в капучино долили двойную порцию соевого молока». В августе в город стали возвращаться их друзья и знакомые (не только из их колледжа, но и из Гарварда, МТИ, Уэллсли и Тафтса), которые зависали у них на пару дней, перед тем как перебраться в общежитие или на съемную квартиру. Однажды вечером, незадолго до того, как им самим уже настала пора съезжать с квартиры, они пригласили в гости человек пятьдесят и устроили пикник на крыше. Они помогли Малкольму запечь на гриле под влажными банановыми листьями гору мидий и кукурузных початков. На следующее утро они вчетвером собирали с пола ракушки, забрасывая их в мешки для мусора и с удовольствием слушая их кастаньетный перестук.

Но тем же летом он понял, что больше не вернется домой, – как-то так вышло, что без Хемминга им с родителями больше не нужно было притворяться, будто они должны держаться вместе. Подспудно он чувствовал, что и родители думают так же: они никогда об этом не разговаривали, но и у него теперь не было особой нужды к ним ехать, и они его не звали. Время от времени они перезванивались, вели неизменные – вежливые, будничные, обязательные – беседы. Он спрашивал их о ферме, они его – об учебе. На последнем курсе он сыграл в студенческой постановке «Стеклянного зверинца» (разумеется, ему досталась роль визитера), но об этом он родителям даже не стал рассказывать, и когда сказал, что на церемонию вручения дипломов им приезжать совершенно необязательно, они спорить не стали – впрочем, на ферме как раз подходила к концу выжеребка кобыл, и он не знал, смогли бы они приехать или нет, даже если бы он их об этом попросил. На выходные их с Джудом приютили семьи Малкольма и Джей-Би, но их и без того все наперебой звали на праздничные обеды, ужины и пикники.

«Но они же твои родители! – примерно раз в год говорил ему Малкольм. – Ты не можешь вот так просто перестать с ними общаться». Но вот тому живое доказательство: он смог, он перестал. Как и всякие отношения, думал он, отношения с родителями тоже требуют постоянного ухода, упорства и внимания, но если ни одна из сторон не желает себя этим утруждать, отчего бы отношениям не зачахнуть? И поэтому он скучал только по Хеммингу и еще по самому Вайомингу – по его бескрайним просторам, по деревьям с такой темной зеленью, что она казалась синей, по сахарно-навозному, яблочно-торфяному запаху лошадей, которых вычистили перед сном.

Родители умерли в один год, когда он учился в магистратуре: отец в январе, от инфаркта, мать – в октябре, от инсульта. Тогда он приезжал домой – родители, конечно, были немолоды, но, только увидев, до чего они усохли, он вспомнил, какими живыми, какими неутомимыми они были всегда. Они все завещали ему, но, расплатившись с долгами (тут ему снова сделалось не по себе, он ведь был уверен, что лечение и уход покрывала стра-

ховка, но теперь узнал, что и через четыре года после смерти Хемминга родители по-прежнему каждый месяц выплачивали больнице огромные суммы), он остался почти ни с чем: немного наличных, какие-то облигации, серебряная кружка с толстым дном, принадлежавшая его давно умершему деду по отцовской линии, черно-белый снимок Акселя с Хеммингом, которого он раньше никогда не видел. Это и еще кое-какие вещи он оставил себе. Фермер, нанявший его родителей на работу, сам давно умер, и теперь фермой владел его сын, который к родителям Виллема всегда относился хорошо, – они проработали у него гораздо дольше, чем по идее должны были, и он же оплатил их похороны.

Только когда они умерли, Виллем сумел вспомнить, что все-таки любил их, что они научили его многим вещам, которыми он теперь дорожил, и что они никогда не требовали от ничего непосильного и невозможного. В минуты нетерпимости (сколько их было всего каких-нибудь пару лет назад!) он считал их безразличие, их безучастное принятие того, кем он там хочет или не хочет быть, простым отсутствием интереса: что это за родители, однажды сочувственно-завистливо спросил его Малкольм, которые и слова не скажут, когда единственный ребенок (потом он извинился) сообщает им, что собирается стать актером? Но теперь, повзрослев, он оценил наконец, что они никогда не давали ему понять, будто он им что-то должен – свой успех, свою преданность, свою любовь или даже верность. Он знал, что отец в Стокгольме попал в какую-то передрагу – он так и не узнал, в чем было дело – и отчасти из-за этого родители и перебрались в Штаты. Они бы никогда не потребовали, чтобы он был как они, они и сами не очень-то хотели быть собой.

Вот так началась его взрослая жизнь, и последние три года он бултыхался в илистом пруду, болтаясь от берега к берегу, и деревья вокруг нависали над ним, заслоняли свет, так что было не разглядеть, впадала ли в это его озерцо река или оно было закрытым, крошечным мирком, где он мог проплавать годы и десятилетия – всю свою жизнь, – слепо тыкаясь во все стороны в поисках выхода, которого нет, которого там не было никогда.

Вот если бы у него был агент, если б кто-то мог указать ему верный путь, показать, как спастись, как попасть в струю. Но агента у него не было, пока не было (он оптимистично считал, что это все только «пока»), и потому он, в компании таких же искателей, все высматривал этот ускользающий приток, по которому лишь немногие уплывали из озера и которым никто не желал возвращаться обратно.

Он был готов ждать. Он ждал. Но в последнее время ему казалось, будто его терпение стачивается во что-то занозистое, зазубренное, разваливается на сухие щепочки.

Впрочем, ни беспокойство, ни жалость к себе ему не были свойственны. Напротив, ему случалось возвращаться домой из «Ортолана» или с репетиции пьесы, за неделю игры в которой ему заплатят сущие гроши, так мало, что даже на бизнес-ланч не хватит, с чувством полного удовлетворения. Только они с Джудом могли считать квартиру на Лиспенард-стрит достижением – ведь, сколько бы он ее ни ремонтировал, сколько бы Джуд ее ни отмывал, она все равно оставалась тоскливой и какой-то неясной, как будто бы само это место стеснялось назваться настоящим жильем – но именно в такие минуты он и ловил себя на мысли, что этого уже достаточно. На такое я и надеяться не смел. Жить в Нью-Йорке, быть взрослым, стоять на деревянном возвышении и произносить чужие слова! – то была абсурдная жизнь, жизнь-нежизнь, жизнь, которой ни его родители, ни его брат и представить себе не могли, а он вот представлял ее себе каждый день.

Но потом это чувство исчезало, он вновь оставался один и принимался за газету, проглядывал новости культуры, читал о других людях, делавших то, о чем он даже и мечтать не мог – для этого его воображению не хватало нужной широты, нужной дерзости, – и в такие часы мир ему казался очень большим, озеро – очень пустым, ночь – очень темной, и ему хотелось вернуться в Вайоминг и ждать Хемминга у дороги, где надо было знать только один

путь – к родительскому дому, над крыльцом которого горела лампочка, омывавшая вечер медом.

Сначала была видимая жизнь офиса: они, все сорок человек, сидели в большой комнате, каждый за своим столом; на одном конце, ближайшем к Малкольму, – кабинет Рауша за стеклянной стеной, на другом конце, тоже за стеклянной стеной, – кабинет Томассона. Между ними две стены окон, один ряд выходит на Пятую авеню и Мэдисон-сквер, другой – на Бродвей, на мрачный, серый, заплесанный жвачкой тротуар. Эта жизнь существовала официально с десяти утра до семи вечера, с понедельника по пятницу. В этой жизни они делали, что велят: сидели над макетами, чертили наброски и варианты, разбирали эзотерические каракули Рауша и четкие, написанные печатными буквами указания Томассона. Они не разговаривали. Не собирались в группы. Когда клиенты приходили к Раушу и Томассону и стояли у большого стеклянного стола в центре комнаты, они не поднимали глаз. Если клиент был знаменитостью – а это случалось все чаще и чаще, – они так низко склонялись над чертежами и сидели так тихо, что даже Рауш начинал шептать, и его голос – редкий случай – принаравливался к офисной громкости.

Но была и другая жизнь офиса, настоящая жизнь. Томассон появлялся на работе все реже и реже, так что теперь они ждали только ухода Рауша, и ждать иногда приходилось долго: Рауш, при всей своей светскости и общительности, при всей любви к путешествиям и выступлениям в прессе, был усердным тружеником и, даже уходя с работы на какое-нибудь мероприятие (торжественную церемонию, лекцию), мог позже вернуться, и тогда приходилось быстро все перекладывать, чтобы офис снова стал таким, каким Рауш привык его видеть. Лучше было дожидаться, когда он уйдет совсем, хотя иногда это означало, что ждать придется до девяти-десяти часов вечера. Они приручили помощницу Рауша, принося ей кофе и круассаны, так что теперь можно было полагаться на ее донесения о перемещениях начальника.

Но когда Рауш наконец уходил насовсем, офис моментально преображался, тыква превращалась в карету. Включалась музыка (все пятнадцать человек по очереди выбирали, что ставить), появлялись меню ресторанов с доставкой, на всех компьютерах проекты бюро «Ратстар» закрывались, укладывались в электронные папки и засыпали, забытые и нелюбимые, на всю ночь. На час наступало всеобщее веселье, архитекторы изображали тевтонский выговор Рауша (некоторые из них считали, что на самом деле он из Парамуса в Нью-Джерси, а имя это придуманное – не могут же человека и впрямь звать Йооп Рауш?! – а эксцентричный акцент призван скрыть скучную правду: он просто провинциальный зануда по имени, скажем, Джесси Розенберг). Они изображали и Томассона – как он хмурится, как ходит туда-сюда по офису, когда хочет произвести впечатление на посторонних, покрикивая непонятно на кого (на них, видимо): «Эт-то рап-пота, джентльмены! Рап-пота!» Они не щадили и самого пожилого из начальников – Доминика Чуна, талантливое архитектора, который, однако, постепенно ожесточался (все, кроме него, понимали, что он уже никогда не станет партнером, что бы там ни обещали ему Рауш и Томассон). Они издевались даже над проектами, в которых им приходилось участвовать: нереализованная идея неокоптской церкви из известкового туфа в Каппадокии; дом без видимых опор в Каруидзаве, где ржавчина теперь скатывалась по безликим стеклянным поверхностям; музей еды в Севилье, который должен был получить премию, но не получил, музей кукол в Санта-Катарине, который не должен был получить никаких наград, но получил. Они издевались над своими архитектурными школами – в Массачуссетском технологическом, Йеле, в Школе дизайна в Род-Айленде, Колумбии, Гарварде: как все предупреждали их, что много лет жизнь их будет сущим мучением, и как каждый думал, что уж он-то окажется исключением из правил (и сейчас каждый из них втайне продолжал думать так же). Они смеялись над тем, что зарабатывают так мало,

а им ведь уже двадцать семь, тридцать, тридцать два, а они все еще живут с родителями, снимают квартиру на двоих, живут с девушкой, работающей в банке, с бойфрендом, работающим в издательстве (вот где ужас: бойфренд в издательстве зарабатывает больше тебя, и тебе приходится жить за его счет!). Они фантазировали, чем бы они сейчас занимались, если б не пошли в чертову архитектуру: можно было стать музейным куратором (единственная в мире профессия, где зарабатывают еще меньше), сомелье (ну хорошо, таких профессий две), владельцем галереи (окей, три), писателем (ладно – четыре, видимо, им не дано зарабатывать деньги даже в фантазиях). Они спорили о зданиях, которые им страшно нравятся или страшно не нравятся. Они спорили о выставке фотографий в одной галерее и о выставке видео-арта в другой. Они бурно обсуждали критиков, рестораны, философские течения и материалы. Они вместе завидовали однокашникам, добившимся успеха, и злорадствовали по поводу тех, кто оставил профессию, начал разводить лам на ферме в Мендосе, стал соцработником в Анн-Арбор, преподает математику в Чэнду.

Днем они играли в архитекторов. Иногда взгляд клиента, скользящий по комнате, вдруг выхватывал кого-то из них, обычно самых красивых – Маргарет или Эдуарда, и Рауш, который необычайно тонко чувствовал момент, когда он переставал быть центром внимания, звал избранного, словно ребенка за взрослый стол. «Это у нас Маргарет, – говорил он клиенту, глядевшему на нее с тем же вниманием, с каким минуту назад рассматривал чертежи Рауша (которые заканчивала как раз Маргарет). – Скоро она меня вытеснит из бизнеса». И смеялся своим печальным моржовым лаем: «А-ха-ха-ха».

Маргарет улыбалась, здоровалась, закатывала глаза, отвернувшись от них. Но все знали, что она думает то же, что и они: «Иди в жопу, Рауш» и «Когда? Когда уже я тебя вытесню? Когда настанет мой черед?»

А пока у них была только игра; после споров, криков и еды наступала тишина, офис наполнялся сухими звуками: личные файлы извлекались из папок и открывались щелчками мыши, слышался зернистый шорох карандашей по бумаге. Хотя все они работали одновременно, используя ресурсы компании, никто не просил разрешения посмотреть чужую работу – они как будто притворялись, что всего этого не существует. Так вот сидишь до полуночи, рисуешь воображаемые конструкции, изгибаешь параболы в форму мечты, а потом уходишь, всегда с одной и той же глупой шуткой: «Увидимся через десять часов». Или девять, или восемь, если тебе по-настоящему повезло и удалось много сделать.

Сегодня был один из тех вечеров, когда Малкольм уходил один, и довольно рано. Даже когда он заканчивал работу со всеми вместе, он не мог поехать с ними на подземке – все они жили где-нибудь на юге Манхэттена или в Бруклине, он же направлялся в Ист-Сайд. Выйти одному было еще хорошо тем, что никто не увидит, как он ловит такси. Богатые родители были и у его товарищей по офису – у Катарини, например, почти наверняка у Маргарет и Фредерика. Но он единственный из всех жил у своих богатых родителей.

Он поднял руку.

– Угол Семьдесят первой и Лекс, – сказал он водителю.

Если водитель был чернокожим, он говорил «Лексингтон». А если нет, то бывал откровеннее: «Между Лекс и Парк, ближе к Парк». Джей-Би считал, что это как минимум смешотворно, а то и оскорбительно. «По-твоему, если они будут думать, что ты живешь на Лекс, а не на Парк, то примут тебя за крутого гангстера? – спрашивал он. – Малкольм, ты полный придурок».

Эти споры о таксистах были только частью бесконечных дискуссий, которые они годами вели с Джей-Би. Темой их всегда была чернокожесть – точнее, недостаточная чернокожесть Малкольма. Еще один спор о таксистах разгорелся, когда Малкольм (по глупости – он и сам понял это, как только открыл рот) заметил, что он всегда без проблем ловит такси в Нью-Йорке и не понимает, на что жалуются другие. Это было на первом курсе, когда они с

Джей-Би в первый и последний раз пришли на еженедельное заседание Союза афроамериканских студентов. От возмущения и злорадства глаза Джей-Би буквально вылезли из орбит, но когда какой-то самодовольный прыщ из Атланты заявил, что Малкольм, во-первых, сам не очень-то черный, во-вторых, он все равно как эскимо – внутри весь белый, и, в-третьих, имея белую мать, он не в силах понять трудности настоящих черных, Джей-Би тут же встал на его защиту. Джей-Би всегда сам донимал его недостаточной чернотой, но ему не нравилось, когда это делали другие, особенно черные, особенно в смешанной компании, каковой Джей-Би считал любую компанию, кроме Виллема и Джуда.

Вернувшись в квартиру родителей на Семьдесят первой (неподалеку от Парк-авеню), он выдержал обычный родительский допрос, выкрикиваемый со второго этажа («Малкольм, это ты?» – «Да!» – «Ты ел?» – «Да!» – «Может, ты все-таки голодный?» – «Нет!»), и поплелся наверх, в свое логово, чтобы снова раздумывать над главными камнями преткновения собственной жизни.

Хотя Джей-Би не мог подслушать его сегодняшний разговор с таксистом, Малкольм испытывал такое чувство вины и такую ненависть к себе, что раса оказалась на первом месте в его списке. Малкольму всегда было трудно разобраться со своей расой, но на первом курсе он нашел, как ему казалось, блестящий выход из положения: он не черный, он пост-черный. (Постмодернизм стал частью его кругозора сравнительно поздно; он избегал курсов по литературе, это был как бы пассивный протест против влияния матери.) Увы, это объяснение никого не убедило, уж во всяком случае не Джей-Би, которого Малкольм решил считать не черным, а пред-черным, как будто для него чернокожесть была нирваной, идеальным состоянием, в которое Джей-Би постоянно мечтал прорваться.

Но Джей-Би нашел способ перещеголять Малкольма – пока Малкольм выстраивал свою постмодернистскую идентичность, Джей-Би открыл для себя перформативное искусство (курс назывался «Идентичность как искусство: перформативные трансформации и современное тело»; среди слушателей было много усаых лесбиянок, которых страшно боялся Малкольм, но которые необъяснимым образом благоволили к Джей-Би). Джей-Би был так тронут искусством Ли Лозано, что придумал семестровый проект в ее честь под названием «Бойкотирую белых (подражание Ли Лозано)» и в рамках проекта перестал разговаривать с белыми людьми. Однажды в субботу он объяснил им свою идею – тоном слегка извиняющимся и в то же время гордым: сегодня с полуночи он полностью перестает разговаривать с Виллемом и наполовину сокращает общение с Малкольмом. Поскольку расовая принадлежность Джуда неизвестна, с ним он разговаривать сможет, но только загадками и дзенскими коанами, в знак непостижимости его этнического происхождения.

Малкольм увидел, что Виллем и Джуд обменялись серьезным, но, отметил он с раздражением, очень многозначительным взглядом (он всегда подозревал, что между ними существует отдельная дружба, в которой ему нет места), и понял, что идея их позабавила и они готовы идти на поводу у Джей-Би. В принципе-то он был рад немного отдохнуть от Джей-Би, однако не чувствовал ни благодарности, ни умиления – его раздражало, что Джей-Би так легко играет с вопросами расы, раздражало, как он использует этот дурацкий хитровывернутый проект (за который скорее всего получит А), чтобы ткнуть Малкольма носом в его идентичность, а ведь это не его дело.

Жизнь с Джей-Би на условиях проекта (а когда их жизнь не вращалась вокруг его капризов и придумок?) практически ничем не отличалась от обычной жизни с Джей-Би. Урезав общение с Малкольмом, он не стал реже обращаться к нему с мелкими просьбами – захватить для него что-то в магазине, пополнить его карточку для прачечной, раз ему все равно по пути, одолжить экземпляр «Дон-Кихота» на занятие по испанскому, а то Джей-Би оставил свой в мужском туалете библиотеки. То, что он не разговаривал с Виллемом, не значило, что он отказался от прочих способов коммуникации, включая массу эсэмэсок и наспех

нацарапанных записок («Пойд. смтр. Крестного отца у Рэкса?») – по мнению Малкольма, Ли Лозано бы этого не одобрила. С Джудом он общался в стиле «Ионеско для бедных», но этот стиль явно не годился, чтобы попросить Джуда сделать за него домашнее задание по матанализу, и тогда Ионеско внезапно превращался в Муссолини, особенно когда до Ионеско доходило, что есть целый набор задач, к которым он вообще еще не притрагивался, потому что был слишком занят в мужском туалете библиотеки, а занятие начинается через сорок три минуты («Но ты ведь успеешь, правда, Джуди?»).

Естественно, Джей-Би не был бы Джей-Би, если бы его выходка тут же не привлекла сверстников, падких на все броское и блестящее, так что его маленький эксперимент немедленно был описан в газете колледжа, а после в новом афроамериканском литературном журнале «Раскаяние есть», и в течение некоторого утомительного периода времени о нем говорил весь кампус. Все это внимание раздуло в нем угасший было энтузиазм (Джей-Би жил по новым правилам всего восемь дней, но Малкольм видел, что иногда он просто лопается от желания поговорить с Виллемом) – он смог продержаться еще два дня, после чего величественно завершил эксперимент, заявив, что добился успеха и доказал все, что хотел.

– И что же ты хотел доказать? – спросил Малкольм. – Что можешь доводить белых до белого каления, даже когда не разговариваешь с ними?

– Ой, иди в жопу, Мэл, – лениво отозвался Джей-Би, слишком довольный своим успехом, чтобы ввязываться в спор. – Тебе не понять.

И он отправился на встречу со своим бойфрендом, белым парнем с лицом благочестивого богомола, который всегда смотрел на Джей-Би с выражением такого обожания, что Малкольма начинало тошнить.

В то время Малкольм был убежден, что расовый дискомфорт, который он испытывает, – временное состояние, чисто контекстуальное ощущение, которое у каждого пробуждается в колледже, но потом проходит. Он никогда не испытывал никаких особых чувств, никакой гордости по поводу своей расы, разве что косвенно: он знал, что ему следует определенным образом относиться к некоторым вещам (например, к таксистам), но это знание было чисто теоретическим, не подкреплялось его собственным опытом. И все-таки принадлежность к черной расе была важной частью его семейного нарратива, тех историй, которые рассказывались и пересказывались, пока не залоснились от времени: как его отец был третьим черным управляющим директором в инвестиционной компании, третьим черным председателем правления в очень белой подготовительной школе для мальчиков, в которую ходил Малкольм, вторым черным финансовым директором крупного коммерческого банка. (Отец Малкольма родился слишком поздно, чтобы стать первым черным кем бы то ни было, но в своем ареале обитания – к югу от Девяносто шестой улицы и к северу от Пятьдесят седьмой, к востоку от Пятой и к западу от Лексингтон – он был такой же редкой птицей, как краснохвостый сарыч, который гнезвился иногда в зубчатой стене напротив их дома на Парк-авеню.) По мере взросления факт отцовской (и, наверное, его собственной) принадлежности к черной расе отошел на задний план, уступая место другим факторам, которые были важнее в их части Нью-Йорка, – таким, например, как известность матери в литературных кругах Манхэттена, – и, что еще более важно, их богатству. Тот Нью-Йорк, в котором жила семья Малкольма, делился не по расовым признакам, а по ставке подоходного налога, и Малкольм вырос защищенным от всего, от чего могут защитить деньги, включая расизм, – во всяком случае, так ему казалось позже. И в самом деле, только в колледже он осознал, каким разным этот опыт может быть у разных людей черной расы и, что поразило его еще больше, как сильно деньги родителей отделяли его от остальных граждан его страны (если считать его однокурсников представителями остальной страны, что, конечно, было не так). Даже теперь, через десять лет после знакомства, он не мог осознать ту степень бедности, в которой вырос Джуд, – когда он наконец понял, что рюкзак, с которым Джуд приехал в колледж, содержит

буквально все, чем тот владеет на этом свете, он испытал такое сильное и глубокое изумление, что даже поделился им с отцом, хотя обычно избегал представлять отцу доказательства своей наивности, боясь спровоцировать лекцию о том, как он наивен. Но даже отец, выросший в бедной семье в Квинсе – пусть с двумя работающими родителями и новым комплектом одежды каждый год, – был потрясен, Малкольм это видел, хотя тот и постарался скрыть свои чувства, немедленно пустившись в рассказ о собственных детских лишениях (что-то такое о рождественской елке, которую пришлось покупать на другой день после Рождества), как будто в соревновании, кому пришлось хуже, отец все еще надеялся выиграть, несмотря на очевидный сокрушительный триумф соперника.

Но все равно для людей, окончивших колледж шесть лет назад, раса становилась все менее важной характеристикой, носиться с ней как с основой своей идентичности казалось ребячеством, жалким и постыдным, как продолжать цепляться за юношеское увлечение «Амнести Интернэшнл» или игрой на трубе: все эти интересы вчерашнего дня исчерпали свой потенциал еще при поступлении в колледж. В его возрасте по-настоящему важными аспектами идентичности были сексуальные подвиги, профессиональные достижения и деньги. И во всех этих трех аспектах Малкольм тоже терпел неудачу.

Ну деньги ладно. Когда-нибудь он унаследует огромное состояние. Он не знал точно, насколько огромное, не считал нужным спрашивать, и никто никогда не считал нужным ему ничего сообщать, и уже по одному этому было понятно, что состояние очень велико. Ну не как у Эзры, конечно, хотя... может, и как у Эзры. Родители Малкольма жили гораздо скромнее, чем могли бы, поскольку его мать терпеть не могла вульгарной демонстрации богатства, так что он не знал даже, живут они между Лексингтон-авеню и Парк потому, что не могут позволить себе жить между Мэдисон и Пятой, или же потому, что его мать посчитала бы, что жить между Мэдисон и Пятой – дурной тон. Ему бы хотелось зарабатывать деньги самому, но он не относился к тем детям богатых родителей, которые непрерывно казнят себя за свое богатство. Он постарается сам пробить себе дорогу, но не все зависит от него одного.

Однако секс, сексуальная самореализация – за это он все-таки отвечает сам. Он не может сказать, что в его жизни не хватает секса, потому что он выбрал малооплачиваемую работу, или обвинить в этом родителей. (Или все-таки может? В детстве ему приходилось быть невольным свидетелем долгих родительских обжиманий – родители не стеснялись их с Флорой, – и, может быть, демонстрация их искушенности притупила в нем дух соревнования?) Его последние настоящие отношения закончились больше трех лет назад, женщину звали Имоджен, она бросила его и стала лесбиянкой. Он и сейчас не знал, привлекала ли она его физически или он просто был рад, что кто-то принимает за него решения. Недавно он виделся с Имоджен (она тоже архитектор, хотя работает в общественной организации и проектирует экспериментальные дома для малоимущих – Малкольм знал, что должен хотеть заниматься именно такой работой, хотя втайне вовсе этого не хотел) и сказал ей – в шутку! – что, наверное, это из-за него она стала лесбиянкой. Но Имоджен тут же ошетинулась и ответила, что лесбиянкой была всегда, а с ним связалась только потому, что решила чему-то научиться сексуально беспомощного и запутавшегося молокососа.

Но после Имоджен у него никого не было. Да что ж с ним такое? Секс, сексуальность: с этим тоже надо было разбираться в колледже, на последнем рубеже, когда неуверенность в себе не только не осуждалась, но воспринималась с пониманием. Когда ему было чуть за двадцать, он пытался ненадолго влюбиться в разных людей – во Флориных подруг, в однокурсниц, в одну клиентку матери, написавшую высоколбы дебютный «роман с ключом», где главный герой, пожарный, не мог разобраться в своей сексуальной ориентации, – и все-таки не понимал, к кому его влечет. Иногда он думал, что неплохо быть геем (хотя и этой мысли он не мог вынести, это тоже казалось атрибутом студенческой жизни, идентичностью, которую можно примерить на время, прежде чем перейдешь в более зрелую и

практичную полосу жизни) из-за прилегающих к этому статусу аксессуаров, набора политических убеждений и эстетических вкусов. У него отсутствовало то обостренное чувство несправедливости, та рана, тот неизбывный гнев, которые необходимы, чтобы ощущать себя черным, но он не сомневался, что может разделить интересы, присущие геям.

Он воображал, что почти влюблен в Виллема, а иногда и в Джуда, а на работе порой не мог отвести взгляд от Эдуарда. Но потом он ловил взгляд Доминика Чуна, тоже устремленный на Эдуарда, и это его отрезвляло: меньше всего на свете он хотел стать таким, как Доминик, похотливо глядевший на сотрудника фирмы, в которой он никогда не станет партнером. Пару недель назад он заходил к Виллему и Джуду, чтобы сделать замеры и спроектировать им стеллаж, и когда Виллем наклонился, чтобы взять с дивана рулетку, его близость оказалась неожиданно невыносимой, и он убежал, соврав, что ему срочно надо в офис, хотя Виллем выбежал следом, окликая его.

Он действительно поехал в офис, не отвечал на эсэмэски Виллема, сидел перед компьютером, уставившись в монитор невидящим взглядом, и снова спрашивал себя, зачем он пошел работать в «Ратстар». К сожалению, ответ лежал на поверхности, и спрашивать нечего: он пошел работать в «Ратстар», чтобы произвести впечатление на родителей. На последнем курсе архитектурной школы Малкольм выбирал: он мог начать работать с двумя однокурсниками, Джейсоном Кимом и Сонал Марс, которые решили открыть свою компанию на деньги, унаследованные Сонал от бабушки с дедушкой, или пойти в «Ратстар».

– Ты шутишь, – сказал Джейсон, когда Малкольм объявил ему о своем решении. – Ты представляешь, какова жизнь рядового сотрудника в такой компании?

– Это прекрасная компания, – сказал он назидательно, с интонацией матери, и Джейсон закатил глаза. – Представь, какая строчка в резюме.

Но, уже произнося эти слова, он понимал (и, увы, боялся, что и Джейсон понимает): на самом деле это громкое имя нужно ему для того, чтобы родители могли щеголять им на вечеринках. Они и в самом деле произносили его с удовольствием. На каком-то обеде, который давали в честь клиента матери, Малкольм подслушал реплику отца: «Дочь у меня – редактор в „Фаррар, Страус и Жиру“, а сын работает архитектором в „Ратстаре“». Его собеседница одобрительно закудаhtала, и Малкольм, который искал случая сказать отцу, что хочет бросить фирму, почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. В такие минуты он завидовал своим друзьям совершенно по тем же причинам, по каким когда-то их жалел: от них никто ничего не ждет, у них обычные семьи (или вовсе нет семьи), они сами ставят себе жизненные цели.

И что же? Теперь об одном проекте Джейсона и Сонал написал «Нью-Йорк», о другом – «Нью-Йорк таймс», а он все делает подсобную работу, как на первом курсе, пашет на двух претенциозных индюков в претенциозной фирме, названной в честь претенциозного стишка Энн Секстон, и получает за это гроши.

Он выбрал архитектурную школу по самой, кажется, неудачной причине: он любил здания. Это было вполне приемлемое увлечение, и когда он был маленький, родители всячески ему потакали: в путешествиях они вечно ходили на экскурсии, осматривали дома и архитектурные памятники. Даже в самом раннем детстве он рисовал воображаемые дома, возводил воображаемые конструкции; это было его утешением и прибежищем – все, что он не мог высказать и решить, можно было обратиться в здание.

На самом деле вот чего он стыдился больше всего: не того, что у него не складывается с сексом, не того, что он недостаточно верен своей расе, не того, что он никак не может отделиться от родителей, зарабатывать деньги, стать самостоятельным человеком. Он стыдился того, что, когда они с коллегами сидели допоздна в офисе и все работали над проектами своей мечты, рисовали и планировали небывалые здания, он один ничего не делал. Он потерял способность выдумывать. Пока другие творили, он копировал: зарисовывал здания,

виденные в путешествиях, здания, придуманные и построенные другими, здания, в которых он жил или побывал. Снова и снова он повторял то, что уже было создано, не внося изменений, просто копируя. Ему исполнилось двадцать восемь, воображение покинуло его, он всего лишь копировальщик.

Это было страшно. У Джей-Би есть его картины. У Джуда есть его работа, у Виллема тоже. Но что, если Малкольм никогда больше ничего не создаст? Он тосковал о тех годах, когда можно было просто сидеть у себя в комнате и рука летала над листом миллиметровки; еще далеко были трудные решения и выбор идентичности, пока что родители все решали за него, а он мог полностью сосредоточиться на чистой, тонкой линии, проведенной вдоль идеального лезвия линейки.

3

Джей-Би решил, что Новый год они встретят у Виллема и Джуда. Об этом он сообщил им на Рождество, которое они праздновали в три приема: в сочельник собирались у матери Джей-Би в Форт-Грине, на собственно рождественский ужин (по всем правилам, при костюме и галстук) – у родителей Малкольма, а до этого совсем неформально обедали у теток Джей-Би. Они всегда следовали этому ритуалу – четыре года назад к нему прибавился День благодарения в Кеймбридже у Гарольда и Джулии, друзей Джуда, а вот Новый год оставался нераспределенным. В прошлом году – в первую уже не студенческую зиму – все они одновременно находились в одном и том же городе, но Новый год провели врозь, и все неудачно: Джей-Би на дурацкой вечеринке у Эзры, Малкольм в гостях у очередных родителей друзей, Виллема Финдлей определил в праздничную смену в «Ортолане», а Джуд валялся с гриппом на Лиспенард-стрит. Было решено на следующий год как следует все спланировать. Но они тянули и тянули, и вот уже декабрь, а плана все нет.

Поэтому никто не возражал, когда Джей-Би все решил за них (на этот раз, во всяком случае). Они прикинули, что человек двадцать пять разместят без труда, а сорок – с трудом. «Пусть будет сорок», – тут же сказал Джей-Би, как они и ожидали, но, вернувшись домой, они составили список всего из двадцати человек – только их друзей и друзей Малкольма, – ведь было заранее ясно, что Джей-Би пригласит больше народу, чем ему полагалось; он станет звать друзей, и друзей друзей, и совсем не друзей, и коллег, и барменов, и какого-нибудь продавца из магазина, и в конце концов в квартиру набьется столько народу, что даже при открытых настежь окнах ночной воздух не сможет развеять духоту и туман сигаретного дыма.

– И не делайте ничего замороченного, – предупредил Джей-Би, но Виллем с Малкольмом знали, что это предупреждение относится исключительно к Джуду, который был склонен все усложнять и целые ночи напролет печь гужеры, противень за противнем, хотя всех бы вполне устроила пицца, а также отдраивать все до блеска, хотя всем было бы наплевать, даже если бы пол покрылся слоем грязи, а раковина – плевками засохшего мыла и присохшими остатками завтрака.

Ночь перед вечеринкой выдалась теплой не по сезону, настолько теплой, что Виллем прошел пешком все две мили от «Ортолана», а дома его встретил такой густой масляный запах теста, сыра, фенхеля, что ему показалось, будто он и не уходил с работы. Он постоял немного на кухне, с легкой печалью поддевая маленькие вспухшие полукружья, которые остывали на противнях, оглядывая батареи пластиковых контейнеров – имбирное печенье, печенье с пряными травами, – и с той же печалью отметил, что Джуд все-таки выдраил всю квартиру; он знал, что все эти изыски будут бездумно проглочены под пиво, а их новый год начнется с того, что они повсюду будут находить крошки от этого прекрасного печенья – раздавленные, втоптаные в пол. В спальне он обнаружил, что Джуд уже спит, а окно приоткрыто, и воздух был такой плотный, что Виллему приснилась весна: деревья в желтом цветочном пуху и стаи дроздов с гладкими, будто промасленными перьями, беззвучно скользящие по небу цвета моря.

Когда он проснулся, погода снова переменилась, и он не сразу сообразил, что дрожит от холода, и что звук, ворвавшийся в его сон, – это шум ветра, и что его трясут, а имя его повторяют не птицы, а человеческий голос: «Виллем, Виллем».

Он повернулся, приподнялся на локтях – Джуд был виден ему только фрагментами; сначала он различил лицо, а потом сообразил, что Джуд держит перед собой левую руку, поддерживая ее правой, и она чем-то обернута – полотенцем, сообразил он, – и это поло-

тенце в полумраке было таким ослепительно-белым, что, казалось, само служило источником света, и он смотрел на него как завороченный.

– Виллем, прости, – сказал Джуд, и голос его звучал так спокойно, что еще несколько секунд он думал, что это сон, и перестал слушать, так что Джуду пришлось повторить. – Виллем, произошел несчастный случай. Прости. Пожалуйста, отвези меня к Энди.

Наконец он проснулся.

– Что такое?

– Я порезался. Случайно. – Он помедлил. – Ты меня отвезешь?

– Да, конечно.

Но он все еще не проснулся, все еще был как в тумане и, еще не понимая, что случилось, торопливо оделся, вышел в коридор, где ждал Джуд; они вместе дошли до Канал-стрит, и он свернул в сторону подземки, но Джуд потянул его за рукав:

– Думаю, придется вызвать такси.

В такси – Джуд сказал водителю адрес все тем же подавленным, глухим голосом – он наконец пришел в себя и заметил, что Джуд все еще прижимает к руке полотенце.

– Зачем ты взял полотенце? – спросил он.

– Я же сказал – порезался.

– Что, так сильно?

Джуд пожал плечами, и Виллем только теперь заметил, что его губы приобрели странный цвет – вернее, странную бесцветность, хотя, может быть, все дело было в свете фонарей, который захлестывал его лицо, выхватывал отдельные черты, окрашивал их желтым, охристым, тошнотным личиночно-белым, пока такси неслось на север. Джуд прислонился головой к окну и закрыл глаза, и тогда на Виллема накатила дурнота, ему стало страшно, хотя он и не смог бы сказать почему, он знал только, что они едут в такси и что-то случилось, он не знал что, но что-то очень плохое, а он не понимает чего-то жизненно важного, главного, и влажное тепло, царившее повсюду всего лишь несколько часов назад, исчезло, и мир опять вернулся к ледяной резкости конца года, к неприкрытой зимней жестокости.

Приемная Энди находилась на пересечении Семьдесят восьмой и Парк, недалеко от дома родителей Малкольма, и только когда они вошли внутрь, при нормальном освещении Виллем увидел, что узор на рубашке Джуда – это кровь, что полотенце все пропиталось ею, стало липким, покрылось коркой и кусочки хлопка слиплись, как влажная шерсть.

– Прости, – сказал Джуд Энди, когда тот открыл дверь и впустил их, а когда Энди разматывал полотенце, Виллем увидел, как рука Джуда захлебывается, будто на ней появился рот, блюющий кровью, да с такой силой, что маленькие пенные пузыри надуваются и отскакивают, брызжут слюной в возбуждении.

– Мать твою, господи Иисусе, Джуд, – сказал Энди и потащил его в смотровую, а Виллем остался ждать снаружи. О господи, думал он, о господи. Но мысли его прокручивались вхолостую, как колесо, попавшее в глубокую колею, – в голове все повторялись эти два слова. Приемная была слишком ярко освещена, он пытался расслабиться, но не мог – все та же фраза билась и билась в такт с сердцем, словно второй пульс в теле: о господи. О господи. О господи.

Прошел целый долгий час, прежде чем Энди позвал его. Энди был на восемь лет старше, они познакомились еще на втором курсе – тогда у Джуда случился такой сильный приступ, что они втроем наконец решились отвезти его в университетскую больницу, где как раз дежурил Энди. С тех пор он стал единственным врачом, к которому соглашался обратиться Джуд, и хотя Энди был хирург-ортопед, он лечил Джуду все, от болей в спине и в ноге до простуды и гриппа. Они все любили Энди и доверяли ему.

– Можешь забрать его домой, – сказал Энди. Он был сердит. Он с резким щелчком содрал с рук окровавленные перчатки, рывком встал со своей табуретки на колесиках. По

полу тянулась красная полоса, длинная и размазанная, как будто кто-то что-то разлил, принялся отмывать, но бросил в сердцах. Красные кляксы виднелись на стенах, затвердевали на свитере Энди. Джуд сидел на смотровом столе сгорбившись, вид у него был несчастный. В руке он держал стеклянную бутылку с апельсиновым соком. Волосы его слиплись клоками, рубашка казалась твердой броней, как будто сделана была не из ткани, а из металла.

– Джуд, подожди в приемной, – велел Энди, и Джуд покорно вышел.

Когда они остались одни, Энди закрыл дверь и посмотрел на Виллема.

– Как по-твоему, он в последнее время думал о суициде?

– Что? Нет. – Он на мгновение окаменел. – А что, это он пытался?..

Энди вздохнул.

– Он говорит, что нет. Но... Не знаю. Нет, не знаю, не могу понять. – Он прошел к раковине и стал яростно тереть руки. – С другой стороны, если бы вы обратились в пункт неотложной помощи – а именно туда вам и надо было отправиться к чертям собачьим, – то они бы его почти наверняка госпитализировали. Поэтому он туда и не пошел. – Теперь он громко говорил сам с собой. Он выдавил на руки лужицу мыла и снова принялся их мыть. – Ты знаешь, что он себя режет?

Несколько мгновений он не мог ответить.

– Нет, – сказал он наконец.

Энди повернулся и уставился на Виллема, медленно вытирая насухо каждый палец.

– Он не угнетен? Регулярно ест, спит? Может быть, беспокоится, не находит себе места?

– Он казался нормальным, – сказал Виллем, хотя, по правде говоря, не знал. Ел ли Джуд регулярно? Спал ли? Должен ли был он заметить, если нет? Обращать больше внимания? – В смысле, он был такой как всегда.

– Что ж, – сказал Энди. Из него словно вышел воздух. Несколько мгновений они постояли молча, лицом к лицу, но не глядя друг на друга.

– На этот раз поверю ему на слово, – сказал он. – Я виделся с ним неделю назад, и, согласен, он был такой как обычно. Но если он вдруг начнет как-то странно себя вести... Если ты хоть что-то заметишь, Виллем, звони мне немедленно.

– Обещаю, – сказал Виллем.

Он видел Энди несколько раз за эти годы и всегда чувствовал его недовольство, направленное, казалось, на многих людей сразу: на самого себя, на Джуда и в особенности на друзей Джуда, – Энди всегда давал им понять, не говоря этого прямо, что все они недостаточно заботятся о Джуде. И ему нравилось это негодование, хотя он и опасался осуждения Энди и чувствовал, что тот не вполне справедлив.

И тут, как часто бывало, когда Энди переставал их укорять, его голос смягчился и зазвучал почти нежно:

– Я знаю, ты все сделаешь как надо. Уже поздно, езжайте домой. Дай ему что-нибудь поесть, когда он проснется. С Новым годом.

Домой они ехали молча. Таксист окинул Джуда долгим внимательным взглядом и сказал:

– Поеду, если накинете двадцать долларов сверху.

– Ладно, – ответил Виллем.

Небо уже светлело, но он знал, что заснуть не получится. Джуд отвернулся и глядел в окно, а когда они вернулись домой, он, споткнувшись у порога, медленно побрел в ванную, и Виллем понял, что он хочет там прибраться.

– Не надо, – сказал он. – Иди ложись.

И Джуд, в кои-то веки послушавшись его, развернулся, поплелся в спальню и практически мгновенно уснул.

Виллем, усевшись на кровать напротив, наблюдал за ним. Он вдруг ощутил каждый свой сустав, каждую мышцу и косточку, и ему показалось, будто он разом, разом состарился, и поэтому он несколько минут просто сидел, уставившись на Джуда.

– Джуд! – позвал он, потом позвал снова, погромче, но Джуд не отзывался, и тогда он подошел к его кровати, перекатил Джуда на спину и, немного поколебавшись, отогнул правый рукав его рубашки. Ткань не скручивалась, а скорее сгибалась и надламывалась, будто картон, и рукав Виллему удалось отвернуть только до локтя, но шрамы и так уже были видны – три ровных белых колонки, в дюйм шириной, слегка вспухшие, так что кожа бугрилась лесенкой. Он просунул палец под рукав, нащупал дорожки, уходящие вверх к плечу, но, дойдя до бицепса, остановился, передумал и убрал руку. Осмотреть левую руку Виллем не мог – Энди разрезал рукав и перебинтовал все предплечье до локтя, – но он знал, что и там точно такие же шрамы.

Он соврал Энди, когда сказал, будто не знает, что Джуд себя режет. Формально это было правдой – он никогда не видел, как тот себя режет, но знать – знал, и давно. В то лето, когда умер Хемминг и они поехали в гости к Малкольму, они с Малкольмом напились однажды вечером и наблюдали за Джудом и Джей-Би, которые ходили гулять к дюнам, а теперь, швыряясь друг в друга песком, шли обратно к дому, и вот тогда Малкольм его спросил:

– А ты заметил, что у Джуда вся одежда с длинными рукавами?

Он что-то буркнул в ответ. Конечно, он заметил – еще бы не заметить, особенно в такую жару, – просто предпочитал об этом не думать. Ему часто казалось, что его дружба с Джудом в основном и заключается в том, чтобы не спрашивать того, о чем спросить необходимо, потому что ответ услышать страшно.

Они помолчали, наблюдая за тем, как пьяный Джей-Би растянулся на песке и Джуд, прохромав к нему, принялся его закапывать.

– У Флоры была подруга, которая всегда ходила в одежде с длинными рукавами, – продолжил Малкольм. – Ее звали Марьям. Она себя резала.

Виллем молчал до тех пор, пока молчание не стало таким натянутым, что ему показалось, будто оно ожило. У них в корпусе жила девушка, которая тоже себя резала. Она отучилась с ними первый курс, но тут до него вдруг дошло, что он ее уже год как не видел.

– Почему? – спросил он Малкольма.

Джуд уже закопал Джей-Би по пояс. Джей-Би нестройно и несвязно что-то напевал.

– Не знаю, – ответил Малкольм. – Там все было сложно.

Виллем подождал, но Малкольм, похоже, больше ничего говорить не собирался.

– И чем все закончилось?

– Не знаю. Когда Флора уехала в колледж, они перестали общаться. Больше она о ней ничего не рассказывала.

Они снова умолкли. Он знал, что как-то так вышло, как-то они так молчаливо условились, что за Джуда в первую очередь отвечать будет он, и он понял, что Малкольм пытается подсунуть ему какую-то задачку, требующую решения, хотя что это за задачка – и какое у нее вообще может быть решение, – он толком не знал и готов был поспорить, что Малкольм тоже не знает.

Следующие несколько дней он избегал Джуда, потому что понимал: останься он с ним наедине, не сможет удержаться от разговора, а пока что Виллем и сам точно не знал, хочется ли ему с ним разговаривать, да и о чем говорить, не знал тоже. Избегать его было не сложно: днем они всегда были вместе, вчетвером, а по вечерам все расходились по своим комнатам. Но однажды вечером Малкольм и Джей-Би ушли за лобстерами, а они с Джудом остались на кухне мыть салат и резать помидоры. День выдался долгим, сонным, солнечным, Джуд в

кои-то веки был в приподнятом, почти беззаботном настроении, и, еще не договорив, Виллем уже заранее расстраивался, что испортит этот идеальный миг, когда все – от закапанного алым неба до ножа, что так ловко резал овощи – складывалось в такую безупречную картину.

– Может, какую-нибудь мою футболку наденешь? – спросил он Джуда.

Джуд молча вырезал сердцевинку помидора, окинул Виллема ровным, ничего не выражающим взглядом и только потом ответил:

– Нет.

– А тебе не жарко?

Джуд улыбнулся – легонько, предостерегающе.

– Вот-вот снова похолодает.

Он был прав. Когда скрылся последний блик солнца, стало прохладно, и Виллему самому пришлось идти к себе в комнату за свитером.

– Но... – он уже и сам понимал, что скажет глупость, что, стоило ему завести этот разговор, как он перестал с ним справляться, будто с рвущейся из рук кошкой, – ты же все рукава в лобстере перепачкаешь.

В ответ Джуд как-то странно крикнул – не засмеялся, слишком громким, слишком лающим вышел звук – и снова взялся за овощи.

– Я как-нибудь справлюсь, Виллем, – сказал он, и хоть он очень мягко это произнес, Виллем заметил, как крепко он стиснул, сдавил даже, ручку ножа – так что костяшки стали сально-желтого цвета.

Им тогда повезло, повезло обоим, что Джей-Би с Малкольмом вернулись прежде, чем они продолжили разговор, но Виллем еще успел услышать, как Джуд спросил было: «А почему ты?...» Он так и не договорил (да и вообще за весь ужин, после которого рукава у него остались идеально чистыми, не сказал Виллему ни слова), но Виллем знал, что вопрос был не «А почему ты спрашиваешь?», а «Почему *ты* спрашиваешь?», ведь Виллем всегда старался не выказывать излишнего интереса к шкафу с многочисленными ящиками, в котором прятался Джуд.

Будь это кто другой, твердил себе Виллем, он бы не колебался ни минуты. Он потребовал бы объяснений, обзвонил бы всех общих друзей, уселся бы с ним рядом – и криками, мольбами и угрозами вытянул бы из него признание. Но если хочешь дружить с Джудом, подписываешься совсем на другое: и он сам это понимал, и Энди это понимал, и все они это понимали. Ты учишься не обращать внимания на голос инстинкта, гонишь от себя все подозрения. Ты понимаешь, что доказательством вашей дружбы становится умение держать дистанцию, верить в то, что тебе говорят, отворачиваться и уходить, когда перед тобой захлопывают дверь, а не пытаться ее выломать. Военные советы, которые они держали вчетвером, когда дело касалось других – когда они думали, что девушка, с которой встречается Черный Генри Янг, ему изменяет, и не знали, как ему об этом сказать, когда они знали, что девушка Эзры ему изменяет, и не знали, как ему лучше об этом сказать... таких советов они никогда не станут держать о Джуде. Он сочтет это предательством, да и толку от них не будет.

Весь оставшийся вечер они друг друга избегали, но когда Виллем уже шел спать, он вдруг задержался возле двери Джуда, занес было руку, чтобы постучать, но потом передумал и пошел к себе. Что он скажет? И что он хочет услышать? И Виллем ушел и вел себя как ни в чем не бывало, и на следующий день, когда Джуд ни словом не обмолвился о прошлом вечере и их почти-разговоре, Виллем тоже промолчал, и вскоре и этот день сменился ночью, а за ним – еще один и еще, и они все дальше и дальше удалялись от того времени, когда Виллем хотя бы попытался, пусть и безуспешно, добиться от Джуда ответа на вопрос, который у него не хватало мужества задать.

Но вопрос так никуда и не делся, он пробивался в сознание в самые неожиданные минуты, упрямо пролезал вперед всех его мыслей и каменел там, будто тролль. Четыре года

назад, когда они с Джей-Би учились в магистратуре и снимали на двоих квартиру, к ним в гости приехал Джуд, который доучивался в Бостоне в юридической школе. И тогда ночью дверь ванной тоже оказалась запертой, и Виллема вдруг охватил необъяснимый ужас; он принялся колотиться в дверь, и Джуд вышел к нему – с сердитым, но (или это ему только показалось) в то же время почему-то виноватым видом, спросил: «Что такое, Виллем?» – и Виллем, зная, что тут что-то не так, снова не сумел ему ничего ответить. В ванной стоял терпкий и резкий, металлически-ржавый запах крови, и Виллем даже порылся в мусорной корзине – нашел скрученную обертку от пластыря, но не знал, валялась ли она там с ужина, когда Джей-Би ткнул себе в руку ножом, пытаясь нарезать морковь прямо в руке (Виллем подозревал, что тот вел себя на кухне подчеркнуто неуклюже, чтобы его не просили помочь), или осталась от ночных самоистязаний Джуда. Но он опять (опять!) ничего не сделал, и, проходя мимо Джуда, который спал (или притворялся, что спит?) на диване в гостиной, он так ничего и не сказал, ничего он не сказал и на следующий день, и дни шелестели один за другим чистыми листами, и каждый день он ничего, ничего, ничего ему не говорил.

А теперь это. Если б он сделал что-нибудь (что?) три года назад, восемь лет назад, случилось бы это сегодня? И что такое это «это»?

Но теперь он заговорит, потому что теперь у него есть доказательства. Потому что, если он и теперь позволит Джуду увернуться, избежать расспросов, сам Виллем и будет виноват, если что-нибудь случится.

Едва он принял решение, как почувствовал, что на него наваливается усталость и уносит все ночные страхи, тревоги и волнения. Был последний день года, он прилег на кровать, закрыл глаза и едва успел удивиться тому, что сон пришел к нему так быстро.

Виллем проснулся почти в два часа дня и сразу же вспомнил свое вчерашнее решение. Но то, что он увидел, несколько охладило его пыл. Постель Джуда была убрана, и Джуда в ней не было. Зайдя в ванную, он почувствовал запах хлорки. А за складным столиком сидел сам Джуд и вырезал кружки из раскатанного теста с таким стоическим видом, что Виллем испытал одновременный прилив раздражения и облегчения. Значит, если уж он решится поговорить с ним начистоту, то не сможет сослаться ни на беспорядок, ни на свидетельства вчерашней катастрофы.

Он опустился на стул напротив Джуда.

– Ты что делаешь?

– Гужеры, – спокойно ответил Джуд, не поднимая глаз. – Вчера одна партия получилась неудачно.

– Да кому они, на фиг, сдались, – недобро сказал он и неуклюже, по инерции, добавил: – Мы могли бы всем подать сырные палочки, вышло бы ровно то же самое.

Джуд пожал плечами, и раздражение Виллема распалось до гнева. Вот он сидит тут после такой страшной – да, страшной – ночи и делает вид, будто ничего не произошло; а между тем его забинтованная рука лежит неподвижно на столе. Он уже открыл было рот, но тут Джуд отставил стакан, которым вырезал круги из теста, и посмотрел на него.

– Виллем, прости меня, – сказал он едва слышно. Увидев, что Виллем смотрит на забинтованную руку, он другой рукой перетащил ее на колени. – Я не... – Он помолчал. – Прости. Не сердись на меня.

Гнев развеялся.

– Джуд, – сказал он, – что это было?

– Не то, что ты думаешь. Честное слово, Виллем.

Много лет спустя Виллем будет пересказывать этот разговор – в общих чертах, не дословно – Малкольму в доказательство своей несостоятельности, своего провала. Можно

ли было все изменить, если бы он произнес одну-единственную фразу? Например: «Джуд, ты что, пытаешься покончить с собой?» или «Джуд, немедленно расскажи мне, что происходит» или «Джуд, зачем ты с собой такое делаешь?» Любая из них сгодилась бы; любая подвела бы к серьезному разговору – целительному или, по крайней мере, профилактическому.

Так ведь?

Но тогда он всего лишь промычал:

– Ну ладно.

Они сидели молча – долго, как им казалось, под бормотание телевизора в соседней квартире, и только много позже Виллем задался вопросом, опечалился Джуд или вздохнул с облегчением оттого, что ему так легко поверили.

– Ты сердишься?

– Нет. – Он откашлялся. Нет, он не сердился. Во всяком случае, он не стал бы описывать свои чувства таким словом, хотя правильного слова тоже подобрать не мог. – Но нам, конечно, придется отменить гостей.

– Почему? – с ужасом спросил Джуд.

– Почему? Ты издеваешься?

– Виллем, – в голосе Джуда зазвучала интонация, которую он про себя называл «судебной», – мы не можем ничего отменить. Гости начнут собираться часов через семь, даже раньше. Причем мы понятия не имеем, кого наприглашал Джей-Би. Эти-то придут в любом случае, даже если мы предупредим всех остальных. И потом, – он сделал резкий вдох, как будто переболел затяжным бронхитом и теперь показывал, что вылечился, – я в полном порядке. Отменять будет сложнее, чем оставить все как есть.

Почему, ну почему он всегда слушался Джуда? Но он снова послушался; и вот уже восемь, и окна снова открыты, и в кухне снова жарко от выпечки – как будто прошлой ночи не было, как будто все это был мираж, – и вот уже пришли Малкольм и Джей-Би. Виллем стоял на пороге спальни, застегивая рубашку, и слушал, как Джуд объясняет им, что обжег руку, выпекая гужеры, и что Энди пришлось намазать место ожога мазью.

– Говорил я тебе не делать эти дурацкие гужеры, – услышал он радостный голос Джей-Би; Джей-Би любил выпечку Джуда.

Тогда на него нахлынуло наваждение: он сейчас закроет двери, ляжет спать, а когда проснется – будет новый год, и все будет стерто подчистую, и у него перестанет скрести на душе. Мысль о том, что придется общаться с Малкольмом и Джей-Би, улыбаться, шутить, вдруг показалась невыносимой.

Но, конечно, общаться пришлось, и когда Джей-Би потребовал, чтобы они вчетвером поднялись на крышу, потому что ему нужно глотнуть свежего воздуха и покурить, он, не вступая в разговор, позволил Малкольму понять – вяло и безрезультатно – про лютый холод, а потом послушно потащился, замыкая процессию, по узкой лестнице, которая выходила на покрытую рубероидом крышу.

Он все еще злился и отошел в сторонку, чтобы не мешать общей беседе. Небо над ним было уже совершенно темным, полночно-темным. Повернувшись на север, он видел прямо под собой магазин для художников, где теперь подрабатывал Джей-Би (месяц назад он уволился из журнала), а вдалеке – неуклюжую неоновую громаду Эмпайр-Стейт-Билдинг, башня которого горела ярко-голубым светом и напоминала ему о придорожных заправках и о долгой дороге в родительский дом из больницы, где лежал Хемминг, давным-давно.

– Эй, – крикнул он, – холодно! – Он вышел без куртки, как и остальные. – Пошли обратно.

Но когда он подошел к двери на лестничную площадку, то не смог ее открыть. Он попробовал еще раз – ручка не поворачивалась и застряла намертво. Дверь заклинило.

– Блядь! – крикнул он. – Блядь, блядь, блядь!

– Виллем, ты чего? – встревоженно сказал Малкольм: Виллем редко выходил из себя. – Джуд, у тебя есть ключ?

Но у Джуда ключа не было.

– Блядь!

Он не мог сдержаться. Все шло наперекосяк. Он не мог поднять глаза на Джуда. Он винил его, хоть это и было несправедливо. Он винил себя, так было справедливее, но от этого становилось еще хуже.

– У кого телефон с собой?

Но по закону идиотизма ни у кого не оказалось с собой телефона: они остались внизу, в квартире, где были бы и они, если бы не чертов Джей-Би и не чертов Малкольм, который всегда подхватывает самую его глупую, самую недоделанную идею, и не чертов Джуд вдобавок, если б не прошлая ночь, не прошлые девять лет, не все, что он делает с собой, не позволяя себе помочь, если бы не этот вечный страх за него, не вечная беспомощность; если бы не это вот все.

Они покричали, постучали ногами по крыше в надежде, что услышит кто-нибудь внизу, кто-то из трех соседей, с которыми они так до сих пор и не познакомились. Малкольм предложил швырнуть чем-нибудь в окна одного из соседних зданий, но швыряться им было нечем (даже все бумажники остались внизу, уютно заткнутые в карманы курток), и к тому же ни в одном из окон не горел свет.

– Слушайте, – сказал наконец Джуд, хотя Виллему в этот момент меньше всего хотелось выслушивать Джуда. – У меня есть идея. Спустите меня к пожарному выходу, и я залезу в окно спальни.

Идея была такая дурацкая, что он даже не сразу отреагировал; такое мог бы выдумать Джей-Би, но не Джуд.

– Нет, – отрезал он. – Это бред.

– Почему? – спросил Джей-Би. – По-моему, отличный план.

Пожарный выход был ненадежный, плохо продуманный и более или менее бесполезный – ржавый металлический скелет, прилаженный к фасаду между пятым и третьим этажами как декоративный элемент повышенной уродливости; от крыши до площадки было футов девять, а сама площадка была вдвое уже их гостиной; даже если бы им удалось спустить Джуда на нее в целости и сохранности, не спровоцировав очередной приступ и не переломав ему ноги, все равно ему бы пришлось перегнуться через край площадки, чтобы дотянуться до окна.

– Даже не думай, – сказал Виллем Джей-Би и потом еще некоторое время препирался с ним, пока на волне отчаяния не осознал, что другого выхода нет. – Но только не Джуд, – сказал он. – Я сам полезу.

– Ты не сумеешь.

– Почему? Там даже не надо вламываться в спальню, я просто залезу в одно из окон в гостиной.

Окна в гостиной были зарешечены, но одного из прутьев не хватало, и Виллем рассудил, что сможет пролезть в образовавшуюся щель, хотя и не без труда. Так или иначе, придется.

– Я закрыл окна, перед тем как мы сюда поднялись, – еле слышно признался Джуд, и Виллем сразу понял, что он их еще и запер, потому что Джуд запирал все, что запирается: двери, окна, шкафы – он делал это автоматически, не думая. Но задвижка на окне в спальне была сломана, и Джуд соорудил некий механизм – сложное, увесистое приспособление из болтов и проволоки, которое, по его словам, служило абсолютно надежным замком.

Преувеличенная настороженность Джуда, его готовность отовсюду ждать беды были для него вечной загадкой: он давно заметил, что Джуд, входя в любое незнакомое помеще-

ние, первым делом ищет ближайший выход и становится к нему поближе, – сначала это казалось забавным, а потом как-то перестало, так же, как и его страсть к мерам безопасности. Как-то раз, поздно ночью, они болтали в спальне, и Джуд сказал ему (шепотом, как будто открывал драгоценную тайну), что механизм на окне вообще-то можно открыть снаружи, но как это сделать – знает только он один.

– Почему ты об этом заговорил? – спросил он.

– Потому что, – ответил Джуд, – я думаю, надо нам эту задвижку заменить.

– Но если, кроме тебя, никто не сумеет ее открыть, какая разница?

У них не было лишних денег на слесаря, уж во всяком случае – на починку того, что в починке не нуждается. Они не могли обратиться к управляющему: когда они уже въехали, Анника призналась, что формально не имеет права сдавать им квартиру, но если они будут вести себя прилично, хозяин, скорее всего, их не тронет. Так что они старались вести себя прилично: сами все чинили, сами шпаклевали стены, сами возились с сантехникой.

– На всякий случай, – ответил Джуд. – Просто хочу знать, что мы в безопасности.

– Джуд, – сказал он, – мы в безопасности. Ничего не случится. Никто к нам не вломится. – Джуд молчал, и он со вздохом сдался. – Завтра вызову слесаря.

– Спасибо, Виллем, – сказал Джуд.

Но слесаря он так и не вызвал.

Этот разговор состоялся два месяца назад, а теперь они мерзли на крыше, и в этом окне была их единственная надежда.

– Блядь, блядь! – простонал он. Голова раскалывалась. – Ну скажи мне, как его открыть, и я открою.

– Это очень сложно, – сказал Джуд. Они успели забыть, что Малкольм и Джей-Би стоят здесь же и смотрят на них, причем Джей-Би на удивление тих. – Я не смогу объяснить.

– Конечно, я, по-твоему, полный debil, но если ты обойдешься без длинных слов, я постараюсь понять, – огрызнулся он.

– Виллем, – удивленно сказал Джуд и запнулся. – Я ничего такого не имел в виду.

– Я знаю, – сказал он. – Прости. Я знаю. – Он глубоко вздохнул. – Даже если попытаться – хотя я считаю, что не надо, – как мы вообще тебя спустим?

Джуд подошел к краю крыши, обнесенной плоским парапетом, не доходившим до колен, и посмотрел через край.

– Я сяду на этот парапет спиной к вам, ровно над пожарным выходом, – сказал он. – Вы с Джей-Би прижметесь по сторонам, ухватите меня за руки и спустите, куда хватит рук, а потом отпустите, и я приземлюсь на площадку.

Он рассмеялся – такой глупый это был план и опасный.

– Ну и как ты потом дотянешься до окна спальни?

Джуд посмотрел на него:

– Придется исходить из того, что я справлюсь.

– Чушь собачья.

Тут вмешался Джей-Би:

– Какие варианты, Виллем? Мы тут сейчас околеем от холода.

Холод и впрямь был пронизывающий; только злость его и согревала.

– Джей-Би, ты вообще, блядь, заметил, что у него рука перевязана?

– Да я в полном порядке, Виллем, – сказал Джуд, прежде чем Джей-Би успел ответить.

Они препирались еще минут десять, потом Джуд решительно подошел к краю.

– Если ты не поможешь, я попрошу Малкольма, – сказал он, хотя Малкольм тоже был сам не свой от страха.

– Я помогу, – сказал он.

И вот они с Джей-Би встали на колени и прислонились к стене, и каждый сжал руку Джуда в ладонях. Он уже так заиндевел, что почти не чувствовал собственных пальцев, обхвативших ладонь Джуда. Он держал его за левую руку и ощущал только слой бинтов. В эту секунду перед его глазами возникло лицо Энди, и его замутило от чувства вины.

Джуд оттолкнулся от края, и у Малкольма вырвался короткий стон, перешедший на излете в писк. Виллем и Джей-Би изогнулись насколько могли, так, что еще немного – и сами перевалились бы через край, и когда Джуд велел отпускать, они его отпустили и увидели, как он с грохотом приземлился на покрытую шифером площадку пожарного выхода.

Джей-Би крикнул «ура», и Виллем едва удержался, чтобы ему не врезать.

– Все в порядке! – крикнул Джуд снизу и помахал забинтованной рукой, как флагом, а потом подошел к самому краю площадки и оседлал перила, чтобы добраться до своего запорного устройства. Он обхватил один из прутьев перил ногами, но держался неустойчиво, и Виллем видел, что он слегка покачивается, стараясь удержать равновесие, а его занемевшие от холода пальцы едва шевелятся.

– Спусти меня, – велел он Малкольму и Джей-Би, не обращая внимания на кудахтанье Малкольма, и прыгнул вниз, окликнув Джуда перед самым прыжком, чтобы тот от неожиданности не потерял равновесия.

Прыжок оказался страшнее, а приземление – жестче, чем он предполагал, но он быстро пришел в себя, подошел к Джуду и обхватил его за пояс, ногой зацепившись за прутья перил, чтобы крепче держаться. «Держу», – сказал он Джуду, и тот вытянулся за перила – дальше, чем смог бы без посторонней помощи, – а Виллем держал его так крепко, что чувствовал позвонки Джуда через ткань свитера, чувствовал, как надувается и опадает его живот с каждым вдохом и выдохом, чувствовал, как движение пальцев эхом проходило по мышцам, пока Джуд откручивал и расцеплял проволоочки, которыми окно крепилось к раме. А когда дело было сделано, Виллем первый вскарабкался на перила и залез в спальню, а потом высунулся, схватил Джуда за руки и втащил его внутрь, осторожно, стараясь не задеть повязку.

Они стояли, тяжело дыша от усталости, и смотрели друг на друга. Несмотря на ветер из открытого окна, в комнате было так восхитительно тепло, что он наконец расслабился и обмяк от облегчения. Они были в безопасности, они спаслись. Джуд тогда широко улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ; будь это Джей-Би, он бы бросился его обнимать от избытка чувств, но Джуд не любил обниматься, и он не сдвинулся с места. Но тут Джуд поднял руку, чтобы вытряхнуть из волос чешуйки ржавчины, и Виллем увидел, что с внутренней стороны запястья по повязке расплзается темно-багровое пятно, и запоздало сообразил, что Джуд дышит так часто не только от напряжения, но и от боли. Он не сводил с Джуда глаз, пока тот тяжело сядил на кровать, перевязанной рукой нашаривая твердую поверхность.

Виллем опустил на корточки рядом с ним. Эйфория ушла, уступив место какому-то другому чувству. Он чувствовал, как подкатывают слезы, хотя не мог объяснить почему.

– Джуд... – начал он, но не знал, что еще сказать.

– Ты бы сходил за ними, – сказал Джуд; каждое слово давалось ему с трудом, но он снова улыбнулся Виллему.

– Да хрен с ними, – сказал Виллем, – я с тобой останусь.

И Джуд засмеялся, хотя и морщась от боли, и осторожно лег на бок, и Виллем помог ему положить ноги на кровать. На свитере Джуда виднелись еще чешуйки ржавчины, и Виллем подобрал несколько штук. Он сел на кровать рядом с ним, не зная, с чего начать.

– Джуд, – снова позвал он.

– Ступай, – сказал Джуд и закрыл глаза, все еще улыбаясь, и Виллем нехотя встал, закрыл окно, потушил свет в спальне и вышел, прикрыв за собой дверь, и направился к лестничной клетке, чтобы вызволить Джей-Би и Малкольма, а далеко внизу по лестничному пролету уже разносились трели звонка, оповещающая о прибытии первых гостей.

II Постчеловек

1

По субботам он работал, а по воскресеньям гулял. Прогулки начались вынужденно пять лет назад, когда он только приехал в город и плохо его знал: каждую неделю он выбирал новый квартал, шел до него от Лиспенард-стрит, обходил квартал по периметру и возвращался домой. Он не пропускал ни одного воскресенья, разве что из-за погоды прогулка становилась невозможной, и даже сейчас, изучив почти каждый квартал на Манхэттене и многие в Бруклине и Квинсе, он по-прежнему каждое воскресенье уходил из дома в десять утра и возвращался, только когда совершал полный обход. Прогулки давно перестали его радовать, хотя сказать, что они его не радовали, тоже было нельзя – просто он так делал, и все. Некоторое время он даже надеялся, что это не просто моцион, что в них есть что-то целебное, как любительский сеанс физиотерапии, хотя Энди с этим не соглашался и даже отговаривал его от прогулок. «Я не против, чтобы ты разрабатывал ноги, – говорил он. – Но для этого лучше бы ты плавал, а не таскался по тротуарам». Вообще-то он не возражал бы против плавания, но трудно было найти место, чтобы плавать в одиночестве.

Раньше Виллем иногда присоединялся к его прогулкам, и теперь, если маршрут пролегал мимо театра, он рассчитывал время так, чтобы встретиться с ним после дневного представления, возле стойки с фруктовыми соками неподалеку. Там они что-нибудь пили, и Виллем рассказывал, как прошел спектакль, и заказывал салат, чтобы перекусить перед вечерним представлением, а он шел дальше, на юг, к дому.

Они все еще жили на Лиспенард-стрит, хотя каждый из них мог уже снять отдельную квартиру: он точно мог, Виллем – вероятно. Но ни один не заговаривал о такой возможности, и никто никуда не съезжал. Однако же они превратили левую половину гостиной во вторую спальню, вчетвером выстроив за выходные неровную стену из гипсокартона, разделившую пространство, так что теперь вошедшего приветствовал серый свет из двух, а не из четырех окон. Виллем переселился в новую комнату, а он остался в их старой спальне.

Если не считать коротких набегов в театр, он, казалось, вовсе не виделся с Виллемом, а Виллем, постоянно жалующийся на свою лень, все время работал или пытался работать: три года назад, когда ему исполнилось двадцать девять, он поклялся, что уйдет из «Ортолана» до тридцатилетия, и вот за две недели до этой даты, когда они теснились в своей недавно уполовиненной гостиной, а Виллем беспокоился, сможет ли он себе позволить уйти из ресторана, ему позвонили, и это был звонок, которого Виллем ждал много лет. Его пригласили играть в пьесе, и пьеса эта стала достаточно популярной и привлекла достаточно внимания к Виллему, чтобы он смог навсегда бросить «Ортолан» – ровно тринадцать месяцев спустя, всего на год позже назначенного срока. Пьеса называлась «Теорема Маламуда» – это была семейная драма про профессора-филолога с начинающейся деменцией и его сложные отношения с сыном-физиком. Он ходил на нее пять раз, по два раза с Малкольмом и Джей-Би и один раз с Гарольдом и Джулией, которые приехали в город на выходные, и каждый раз ухитрялся забыть, что на сцене – его старинный друг и сосед по квартире, а когда актеры выходили на поклон, чувствовал одновременно и гордость, и печаль, как будто сама приподнятая над залом сцена уже указывала на вознесение Виллема в иные сферы бытия, куда ему будет нелегко войти.

Приближение его собственного тридцатилетия не вызвало у него ни тайной паники, ни всплеска бурной деятельности, ни потребности перестроить жизнь так, чтобы она больше напоминала нормальную жизнь тридцатилетнего человека. Но у его друзей все было иначе, и он провел три года перед круглой датой, выслушивая элегические плачи по уходящему десятилетию, отчеты о сделанном и несделанном, списки промахов и обетов на будущее. Что-то стало меняться в эти годы. Например, вторая спальня была возведена отчасти из-за того, что Виллем чувствовал – нехорошо в двадцать восемь лет жить в одной комнате все с тем же университетским соседом, и сходное беспокойство – боязнь, что когда им стукнет сорок, они, словно в сказке, обернутся во что-то иное, им неподвластное, и избежать этой участи можно, только совершив нечто радикальное, – вдохновило Малкольма поспешно признаться родителям в своей гомосексуальности, а потом отыграть назад меньше чем через год, когда он начал встречаться с женщиной.

Несмотря на беспокойство друзей, он знал, что ему тридцатилетие понравится по той же причине, по какой они его страшились: это возраст неопровержимой взрослости. (Он с нетерпением ждал тридцати пяти – тогда он сможет сказать, что его взрослая жизнь стала вдвое длиннее детства.) Когда он рос, тридцатилетие казалось далеким, невообразимым. Он ясно помнил, что в раннем детстве – в монастырские годы – он спросил у брата Михаила, который любил рассказывать ему, где побывал в своей прежней жизни, когда и он сможет отправиться путешествовать.

– Когда подрастешь, – ответил брат Михаил.

– Когда? – спросил он. – В следующем году? – В то время даже месяц казался долгим как вечность.

– Через много лет, – сказал брат Михаил. – Когда будешь большой. Когда тебе исполнится тридцать.

И вот еще несколько недель, и ему исполнится тридцать.

В эти воскресенья, собираясь на прогулку, он иногда стоял на кухне, босой, в полной тишине, и маленькая, уродливая квартира казалась ему настоящим чудом. Здесь время принадлежало ему, и пространство тоже, здесь каждую дверь можно было закрыть, каждое окно – запереть. Он стоял перед крошечным шкафом в прихожей – всего лишь нишей, которую они завесили куском холстины, – и любовался скрытыми там богатствами. На Лиспенард-стрит никто не бегал по ночам в лавку на Вест-Бродвее за рулоном туалетной бумаги, не принимался с гадливостью к пакету с давно прокисшим молоком, который завалился в дальнем углу холодильника: здесь всегда был запас. Здесь не бывало ничего просроченного. Он за этим следил. В первый год жизни на Лиспенард-стрит он немного стеснялся своих привычек, больше подходивших человеку совсем другого возраста и, вероятно, другого пола, и свои запасы туалетной бумаги прятал под кровать, а купоны на скидки – в портфель, чтобы изучить их потом, когда Виллема не будет дома, как будто это особо экзотический жанр порнографии. Но однажды, в поисках заброшенного под кровать носка, Виллем обнаружил его схрон.

Он смутился.

– Что в этом такого? – спросил Виллем. – Отлично же. Слава богу, что ты за всем этим следишь.

Но он все равно чувствовал свою уязвимость, чувствовал, что в и без того разбухшее досье добавилось еще одно свидетельство его подавленной стародевической натуры, его фундаментальной и непоправимой неспособности быть тем человеком, каким он хотел казаться окружающим.

Но, как и во многом другом, он не мог ничего с собой поделать. Кому он мог бы объяснить, что неуютное жилье на Лиспенард-стрит и припасы, словно для бомбоубежища, дарили ему такую же защиту и удовлетворение, как и его дипломы, как и работа? Или что

эти одинокие минуты на кухне были чем-то сродни медитации – единственные мгновения, когда можно было по-настоящему расслабиться и перестать рваться вперед, заранее планируя тысячи мелких умалчиваний и искажений, сокрытие правды и фактов, которыми он обставлял каждое свое взаимодействие с миром и его обитателями? Никому не расскажешь, конечно, даже Виллему. Но он потратил целые годы на то, чтобы научиться держать свои мысли при себе; в отличие от друзей, он не рассказывал о своих странностях в попытке выделиться из толпы, хотя был и счастлив, и горд, когда ему рассказывали о своих.

Сегодня он отправится в Верхний Ист-Сайд: по Вест-Бродвей до Вашингтон-Сквер-парк, до университета, через Юнион-сквер и дальше по Бродвею до Пятой, с которой он свернет только на Восемьдесят шестой, а потом – обратно по Мэдисон до Двадцать четвертой, где перейдет на восточную сторону к Лексингтон и свернет сначала на юг, а потом снова на восток, на Ирвинг-плейс, а там возле театра встретится с Виллемом. Он уже много месяцев, почти год не ходил по этому маршруту – потому что это долгий путь и потому что он и так каждую неделю бывал в Верхнем Ист-Сайде, в таунхаусе недалеко от дома родителей Малкольма, где давал уроки двенадцатилетнему мальчику по имени Феликс. Но была середина марта, весенние каникулы; Феликс с семьей уехал в Юту, и можно было не бояться, что он их там встретит.

Отец Феликса был друг друзей родителей Малкольма, и именно отец Малкольма предложил ему эту работу.

– Небось не очень-то тебе платят у федерального прокурора? – спросил мистер Ирвин. – Давай я познакомлю тебя с Гэвином?

Гэвин был однокашник мистера Ирвина по юридической школе, ныне президент одной из крупнейших адвокатских фирм в городе.

– Папа, да не хочет он работать в частной фирме, – начал было Малкольм, но его отец продолжал, как будто тот не открывал рта, так что Малкольм снова нахохлился и отодвинулся. В этот момент он посочувствовал Малкольму, но и слегка разозлился, потому что он просил Малкольма ненавязчиво разузнать, нет ли у каких-нибудь родительских друзей ребенка, которому нужен репетитор, а не прямо спрашивать у них.

– Нет, серьезно, – сказал отец Малкольма, – это здорово, что ты намерен пробиваться сам. – Малкольм еще сильнее вжался в спинку кресла. – А что, дела настолько плохи? Не думал, что федеральное правительство так мало платит, хотя, конечно, я-то оставил государственную службу сто лет назад. – И мистер Ирвин широко улыбнулся.

Он улыбнулся в ответ.

– Нет, – сказал он, – зарплата нормальная. – Это была правда. Конечно, не по понятиям мистера Ирвина, да и Малкольма тоже, но он получал больше денег, чем когда-либо рассчитывал, и каждые две недели дивился неустанному возрастанию чисел. – Я просто коплю на ипотеку. – Это была ложь, и он увидел, как Малкольм вскинулся, и мысленно отметил, что надо будет то же самое сказать Виллему, прежде чем Виллем услышит об этом от Малкольма.

– А, ну это дело, – сказал мистер Ирвин. Такую жизненную цель он понимал. – И у меня как раз есть подходящий кандидат.

Кандидата звали Говард Бейкер; после пятнадцати минут рассеянного собеседования он нанял его в качестве преподавателя для сына по следующим предметам: латынь, математика, немецкий, фортепиано. (Он удивился, что мистер Бейкер не нанимает специалистов по каждому из предметов – ведь мог бы себе это позволить, – но спрашивать не стал.) Ему было жалко мелкого тихоню Феликса, который имел обыкновение царапать изнутри узкую ноздрю, засовывая указательный палец все глубже, пока не спохватывался – тогда он торопливо вытаскивал палец и вытирал о джинсы. Прошло восемь месяцев, а он так и не составил мнения о способностях Феликса. Мальчик не был глуп, но ему не хватало огня, как будто к двенадцати годам он уже смирился с тем, что и жизнь – сплошное разочарование, и от него

всем сплошное разочарование. Он всегда ждал его вовремя, с выполненными заданиями, каждую субботу в час дня, и послушно отвечал на каждый вопрос; его ответы всегда заканчивались тревожной, вопросительной, восходящей нотой, как будто каждый из них, даже простейший («*Salve, Felix, quis agis?*» – «Э-э-э... *bene?*»), был отчаянной догадкой, но собственных вопросов у него никогда не возникало, и когда он спрашивал Феликса, не хочет ли тот обсудить какую-нибудь тему на любом из двух языков, мальчик лишь пожимал плечами и невнятно мычал, а его указательный палец дрейфовал в направлении носа. Когда они прощались в конце занятия, Феликс безвольно поднимал руку и отступал в глубину коридора, и ему всегда казалось, что его ученик никогда не выходит из дому, не бывает в гостях, не приглашает к себе друзей. Бедный Феликс, даже имя его звучало издевкой.

Месяц назад мистер Бейкер попросил его зайти после уроков, и, попрощавшись с Феликсом, он проследовал за горничной в кабинет. В тот день он сильно хромал и чувствовал себя – как часто бывало – актером, исполняющим роль нищей гувернантки из диккенсовского романа.

Он ожидал, что мистер Бейкер будет раздражен, возможно, рассержен, хотя отметки Феликса заметно улучшились, и приготовился защищаться в случае необходимости – мистер Бейкер платил ему намного больше, чем он рассчитывал заработать репетиторством, и он уже решил, на что потратит эти деньги, – но вместо этого ему предложили сесть на стул, стоявший перед письменным столом.

– Как вам кажется, что с Феликсом не так? – спросил мистер Бейкер.

Он не ожидал такого вопроса, поэтому задумался, прежде чем ответить.

– Мне не кажется, что с ним что-то не так, сэр, – осторожно сказал он. – Мне просто кажется, что он не очень... – «счастлив», почти сказал он.

Но что такое счастье, как не излишество, как не состояние, которое невозможно удержать отчасти именно потому, что его так сложно выразить? Он не помнил, чтобы в детстве у него было представление о счастье: только тоска и страх или отсутствие тоски и страха, и ему ничего не нужно было, ничего не хотелось, кроме этого второго состояния.

– Я думаю, он застенчивый, – закончил он.

Мистер Бейкер хмыкнул (он, очевидно, ждал какого-то другого ответа) и спросил:

– Но ведь он вам нравится?

Спросил с таким странным и беззащитным отчаянием, что ему вдруг стало бесконечно жаль и Феликса, и мистера Бейкера. Значит, вот что такое быть родителем? Вот что такое быть ребенком, у которого есть родители? Столько несчастья, столько разочарований, столько ожиданий, которые нельзя ни выразить, ни оправдать!

– Конечно, – сказал он, и мистер Бейкер со вздохом выдал ему чек, который обычно перед выходом передавала ему горничная.

На следующей неделе Феликс не захотел играть заданную пьесу. Он выглядел еще апатичнее, чем обычно.

– Сыграем что-нибудь другое? – спросил он.

Феликс пожал плечами. Он задумался.

– Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю?

Феликс снова пожал плечами. Но он все-таки сел за рояль – это был красивый инструмент, и порой, наблюдая, как Феликс волочит пальцы по его приятно-гладким клавишам, он мечтал остаться с роялем наедине и пробежать руками по клавиатуре с максимально возможной скоростью.

Он сыграл Гайдна – сонату 50 ре мажор, одно из своих любимых произведений, такое яркое и духоподъемное, что оно, по его расчету, должно было развеселить их обоих. Но когда он закончил и рядом сидел все такой же тихий мальчик, ему стало стыдно – и за хвастливый, напористый оптимизм Гайдна, и за собственный всплеск самолюбования.

– Феликс, – сказал он и остановился. Феликс выжидательно молчал. – Что случилось? И тут, к его изумлению, Феликс расплакался, и он попытался его утешить.

– Феликс, – сказал он, неловко обнимая мальчика за плечи. Он притворился Виллемом, который знал бы, что делать и что говорить, не задумываясь об этом. – Все будет хорошо. Честное слово, все образуется.

Но Феликс только зарыдал сильнее.

– У меня нет друзей, – всхлипывал он.

– Ох, Феликс, – сказал он, и сочувствие, которое до этого было отстраненным, абстрактным, кольнуло его в самое сердце. – Это плохо.

Он остро ощутил, как одиноко живет Феликсу, каково ему проводить каждую субботу с юристом-инвалидом почти тридцати лет от роду, который приходит сюда ради денег, а потом уходит к людям, которых он любит, которые даже любят его, а Феликс остается один, потому что его мать – третья жена мистера Бейкера – все время где-то порхает, а отец считает, что с ним что-то не так и это надо исправить. Позже, шагая домой (если погода была хорошая, он отказывался от машины мистера Бейкера и шел пешком), он размышлял о причудливой несправедливости мира: вот Феликс, ребенок по всем параметрам лучше, чем он сам когда-то, и у Феликса до сих пор нет друзей, а у него, у ничтожества, – есть.

– Феликс, друзья рано или поздно появятся, – сказал он, и Феликс, завывая, протянул «Но когда?» – с такой тоской, что он вздрогнул.

– Скоро, скоро, – сказал он, глядя мальчика по худой спине, – честное слово. – И Феликс кивнул, хотя позже, когда Феликс шел за ним до дверей и его маленькое гекконье лицо из-за слез казалось еще более рептильным, он отчетливо сознавал, что Феликс видит его обман насквозь. Как знать, появятся ли у Феликса когда-нибудь друзья? Дружба, товарищество – они так часто идут вразрез с логикой, так часто обходят стороной достойных, так часто оседают на странных, нехороших, причудливых, искалеченных. Он помахал рукой вслед узкой спине Феликса, который уже удалялся в глубину дома, и, хоть ни за что не сказал бы этого Феликсу, про себя подумал, что мальчик именно поэтому такой унылый: он уже это понял, давно; он уже об этом знает.

Он знал французский и немецкий. Он знал таблицу Менделеева. Он знал – сам того не желая – большие куски Библии практически наизусть. Он умел принять новорожденного теленка, починить лампу, прочистить засор в трубе, собрать урожай грецких орехов. Он знал, какие грибы ядовиты, как прессовать сено в тюки и как проверить спелость арбуза, дыни, яблока, тыквы, постучав в нужном месте. (И еще он знал то, чего не хотел знать, умел то, что, как он надеялся, никогда ему больше не понадобится, и когда он думал об этом или видел это во сне, то сжимался от ненависти и стыда.)

И все-таки ему часто казалось, что он не знает ничего по-настоящему полезного. Ну хорошо, языки и математику. Но ежедневно он сталкивался с тем, как многого не знает. Он не смотрел сериалов, которые все беспрестанно цитировали. Он никогда не был в кино. Он никуда не ездил на каникулы. Не был в летнем лагере. Не пробовал пиццу, фруктовый лед, макароны с сыром (и уж конечно, в отличие от Джей-Би и Малкольма, не знал вкуса фуа-гра, или суши, или костного мозга). У него никогда не было компьютера или мобильного, ему редко позволяли выйти в интернет. Он вдруг понял, что у него, по сути, вообще ничего нет: книги, которыми он так гордился, рубашки, которые он бесконечно зашивал и штопал, – это все была ерунда, мусор, гордиться таким имуществом было стыднее, чем не иметь никакого. Учебная аудитория была для него самым безопасным местом, единственным местом, где он чувствовал твердую почву под ногами: за ее пределами на него обрушивалась лавина чудес, каждое из которых ставило в тупик, каждое напоминало о его бездонном невежестве. Он мысленно составлял списки всего нового, с чем столкнулся, о чем услышал. Но спросить

о непонятном было нельзя. Потому что спросить значило признаться в своей бесконечной чуждости, и тогда ему стали бы задавать вопросы, он оказался бы на виду, вынужден был бы вести беседы, к которым не был готов. Он часто чувствовал себя не то чтобы иностранцем – потому что иностранцы (даже Одвал, девушка из деревни под Улан-Батором) понимали все эти вещи, – а человеком из другого времени; его детские годы с тем же успехом могли пройти в девятнадцатом веке, а не в двадцать первом, столько всего он пропустил, таким смутным, показным было его знание жизни. Как так вышло, что все его сверстники, будь они родом из Лагоса или Лос-Анжелеса, имели общий опыт, общий культурный багаж? Должен же быть кто-то еще, кто знает так же мало, как он? А если нет, то как ему всех догнать?

Вечерами, когда они все вместе собирались у кого-нибудь в комнате (тепилилась свеча, тлела самокрутка), его товарищи часто говорили о своем детстве, которое только что кончилось, но по которому они, как ни странно, уже скучали, уже были им одержимы. Они, казалось, пытались вспомнить каждую деталь, но он не мог понять, хотят ли они найти что-то общее или же похвалиться непохожестью, потому что, по всей видимости, то и другое доставляло им равное удовольствие. Они говорили о запретах, о бунтах, о наказаниях (некоторых родители даже били, и они рассказывали об этом почти с гордостью, что тоже казалось ему любопытным). Они говорили о домашних животных, о братьях и сестрах, об одежде, от которой у родителей волосы вставали дыбом, о компаниях, с которыми водились в старших классах, с кем, как и когда они потеряли невинность, какие машины разбили, какие кости ломали, каким занимались спортом, какие музыкальные группы создавали. Они рассказывали о семейных каникулах, когда все шло наперекосяк, о колоритных родственниках, чудаковатых соседях и учителях, любимых или ненавистных. Он неожиданно обнаружил, что получает удовольствие от этих посиделок: вот они, настоящие подростки с настоящей обычной жизнью, о которой ему так хотелось узнать; сидя с ними по ночам, слушая их, он одновременно отдыхал душой и учился жизни. Его собственное молчание было необходимостью и одновременно защитой, а к тому же делало его загадочнее и интереснее, чем на самом деле. «А ты, Джуд?» – спрашивали его иногда, особенно поначалу, но он уже научился тогда – он быстро учился – просто пожимать плечами и говорить с улыбкой: «Да ну, ничего интересного». С удивлением и облегчением он убедился, что они легко принимают такой ответ, он был благодарен за их заикленность на себе. Никто не хотел слушать чужую историю, каждый хотел рассказать свою.

И все же его молчание не осталось незамеченным, и именно благодаря ему он получил свою кличку. В тот год Малкольм открыл для себя постмодернизм, и Джей-Би так громко сокрушался о невежестве Малкольма, что он не отважился признаться в своем.

– Ты не можешь взять и решить, что будешь пост-черным, Малкольм, – говорил Джей-Би. – Чтобы стать выше этого, надо для начала быть черным.

– Как ты меня достал, Джей-Би, – говорил Малкольм.

– Или уж ты должен быть таким неклассифицируемым, чтоб к тебе вообще не подходили обычные мерки. – Тут Джей-Би повернулся к нему, и он похолодел от ужаса. – Вот как Джуди: мы не знаем, нравятся ему мальчики или девочки, мы не знаем, какой он расы, мы вообще ничего о нем не знаем. Вот тебе пост-сексуальность, пост-расовость, пост-идентичность, пост-история. – Он улыбнулся, показывая, что в его словах есть доля шутки. – Пост-человек. Джуд Постчеловек.

– Постчеловек, – повторил Малкольм: в неловкие моменты он всегда был не прочь отвлечь внимание от себя за счет кого-то другого. И хотя прозвище не приклеилось – вошедший в комнату Виллем только закатил глаза, услышав эту шутку, что несколько охладило пыл Джей-Би, – он понял, что, сколько бы он ни убеждал себя, что стал своим, сколько бы ни старался скрыть свою болезненную непохожесть, ему не удалось их обмануть. Они знали, что он странный, и глупо с его стороны было убеждать себя, будто он убедил их в обратном.

И все-таки он продолжал приходить на ночные посиделки в комнаты однокурсников: его тянуло туда, хотя он понимал, что они таят для него опасность.

Иногда во время этих занятий (он стал думать о них именно так, как об интенсивной учебе, которая поможет ему заполнить культурные пробелы) он ловил взгляд Виллема, наблюдавшего за ним с каким-то непонятным выражением лица, и задавался вопросом, о чем Виллем догадывается. Иногда он едва удерживался, чтобы самому не рассказать что-то Виллему. Может быть, я не прав, думал он. Может быть, было бы хорошо признаться кому-то, что большую часть времени он вообще не понимает, о чем речь, что не знает всем знакомого языка детских неудач и разочарований. Но он тут же останавливался: ведь если он не понимает этого языка, придется объяснять, какой язык он понимает.

Но если б он решился кому-то рассказать, то именно Виллему. Он восхищался всеми тремя своими товарищами, но Виллему – доверял. В приюте он усвоил, что есть три типа мальчишек: одни лезут в драку (это был Джей-Би), другие сами не дерутся, но и других не выручают (это был Малкольм), а третьи изо всех сил стараются помочь (это был самый редкий тип, и к нему принадлежал Виллем). Может быть, у девочек все так же, но он слишком мало общался с девочками, чтобы сказать наверняка.

И ему все чаще казалось, что Виллем что-то знает. (*Что знает? – спорил он сам с собой, когда разум брал верх. Ты просто ищешь предлог, чтобы рассказать ему, и что он тогда о тебе подумает? Не глупи. Молчи. Возьми себя в руки.*) Конечно, в этом не было никакой логики. Даже до колледжа он понимал, что детство его было нетипичным – чтобы прийти к такому выводу, достаточно было прочитать несколько книг, – но только недавно он осознал насколько. Сама странность его жизни изолировала и отрезала его от остального мира. Нельзя было даже представить себе, что кто-то догадается о конкретных деталях, а если бы кто-то догадался, это значило бы, что он сам оставил какие-то улики, будто коровьи лепешки – приметные, огромные, отвратительные мольбы о помощи.

И все же. Подозрение все крепло, иногда становилось невыносимым, как будто он неизбежно должен сказать что-то, как будто ему посылают приказы, которым легче подчиниться, чем противиться.

Однажды вечером они сидели вчетвером, без посторонних. Это было начало третьего курса, и такое случалось редко – настолько, что они особенно остро ощущали уют и даже некоторое умиление от того, что составляют такую неразлучную четверку. Они действительно были неразлучны, и он был частью этой компании: здание, где они жили, называлось Худ-Холл, и на кампусе их называли «мальчишки из Худа». У каждого из них были и другие приятели (больше всего у Джей-Би и Виллема), но все знали (или, по крайней мере, считали, а это почти то же самое), что между собой они самые близкие друзья. Они никогда не обсуждали это вслух, но им нравилось, что о них так думают, нравился тот кодекс дружбы, который им приписывали.

В тот вечер на ужин у них была пицца – ее заказал Джей-Би, а оплатил Малкольм. У них была травка, которую добыл Джей-Би; дождь, а потом град, лупил по стеклу, от ветра окна дребезжали в старых рассохшихся рамах, и от всего этого их счастье казалось еще более полным. Косяк переходил из рук в руки, и хотя он пропускал свою очередь (он никогда не курил траву; его слишком пугала потеря контроля – кто знает, что он может сказать или сделать?), дым застилал глаза, давил на веки пушистой звериной лапой. Он был осторожен – если за еду платил кто-то другой, он всегда старался съесть как можно меньше, и хотя он еще не наелся (оставалось два куска пиццы, некоторое время он глядел на них, не отрываясь, а потом, спохватившись, решительно отвернулся), ему было хорошо и спокойно. Так можно и уснуть, подумал он, вытягиваясь на диване и накрываясь одеялом Малкольма. Он чувствовал приятную усталость, впрочем, усталость была привычным его состоянием: столько сил уходило на то, чтобы казаться нормальным, что ни на что другое энергии уже не

оставалось. (Иногда он понимал, что кажется со стороны деревянным, ледяным, скучным; многие, наверное, сочли бы это худшей участью, чем быть тем, кем он был на самом деле.) Он слышал как будто издалека, как Джей-Би с Малкольмом спорят о природе зла.

– Нам бы не пришлось спорить, если б ты прочитал Платона.

– Да, но что у Платона?

– Ты вообще читал Платона?

– Да при чем тут...

– Так читал или нет?

– Нет, но...

– Вот, видишь! Видишь!

Малкольм прыгал и показывал пальцем на Джей-Би, Виллем смеялся. От травки Малкольм всегда становился глупее и педантичнее, и они, все трое, раскручивали его на глупые и педантичные философские споры, которые Малкольм начисто забывал к утру.

Потом он слышал, как Виллем и Джей-Би говорили о чем-то – его слишком клонило в сон, чтобы прислушиваться, он лишь различал их голоса, – и потом сквозь морок прорвался звонкий голос Джей-Би:

– Джуд!

– Что? – спросил он, не открывая глаз.

– Хочу задать тебе вопрос!

Он сразу весь подобрался. Под кайфом Джей-Би обретал зловещую способность задавать крайне неудобные вопросы или высказывать неприятные для окружающих наблюдения. Наверное, он делал это не со зла, но стоило задуматься, что творится в его подсознании. Как понять, какой Джей-Би настоящий – тот, что спросил девушку из их общежития, Тришу Парк, каково ей было расти уродливым близнецом (бедная Триша вскочила и выбежала из комнаты), или тот, который, оказавшись свидетелем особенно тяжелого приступа, когда он то терял сознание, то приходил в себя (тошнотворное ощущение, как на американских горках), улизнул в ночи со своим обдолбанным бойфрендом и вернулся перед рассветом с пучком набухших цветами веток магнолии, наворованных во дворе колледжа?

– Какой вопрос? – спросил он настороженно.

– Мы знаем друг друга уже довольно давно, – начал Джей-Би, затянувшись косяком.

– Да ну? – Виллем изобразил крайнее изумление.

– Заткнись, Виллем. Так вот, – продолжал Джей-Би, – мы все хотим знать, почему ты нам не рассказываешь, что случилось с твоими ногами.

– Ничего подобного, – начал было Виллем, но его перебил Малкольм, который под кайфом всегда энергично поддерживал Джей-Би:

– Это очень обидно, Джуд. Ты что, нам не доверяешь?

– О господи, Малкольм. – Виллем передразнил его визгливым фальцетом: – «Это очень обидно». Ты как девчонка. Это личное дело Джуда.

Почему-то от этого стало еще хуже – всегда Виллему, именно Виллему приходилось защищать его от Малкольма и Джей-Би! В эту минуту он ненавидел их всех, хотя, конечно же, он не мог позволить себе их ненавидеть. Это были его друзья, его первые друзья, и он понимал, что дружба – это постоянный обмен: обмен приязнью, временем, иногда деньгами и всегда – информацией. У него не было денег. Ему нечего было им дать, нечего им предложить. Он не мог дать Виллему поносить свитер, хотя Виллем давал ему свой, не мог вернуть Малкольму сто долларов, которые тот однажды ему всучил, не мог даже помочь Джей-Би таскать вещи при выезде из общаги, хотя Джей-Би помогал ему.

– Это не очень интересно, – начал он, чувствуя их общее напряженное внимание, даже Виллема. Он не открыл глаз, потому что было легче рассказывать, не видя их лиц, и потому

что он просто не мог этого вынести. – Меня сбила машина. Мне было пятнадцать, за год до колледжа.

– Ох, – сказал Джей-Би. Наступила тишина, он чувствовал, что из всех как будто выпустили воздух, все как будто разом отрезвели. – Сочувствую, бро. Это хреново.

– А раньше ты мог ходить? – спросил Малкольм, как будто теперь он не ходил. Ему стало грустно и стыдно: видимо, только он думал, что ходит, остальные так не считали.

– Да, – ответил он и добавил, поскольку это было чистой правдой, хотя не совсем в том смысле, в каком они поймут: – Я даже бегал по пересеченной местности.

– Ни фига себе, – проговорил Малкольм. Джей-Би сочувственно хмыкнул.

Он заметил, что только Виллем ничего не сказал. Но не посмел открыть глаза и посмотреть на выражение его лица.

Как он и предполагал, эти сведения разлетелись по кампусу. (Вероятно, многим действительно хотелось знать про его ноги. Триша Парк подошла к нему и сообщила, что она всегда думала, будто у него церебральный паралич. И что он должен был на это сказать?) Постепенно, однако, в пересказах объяснение стало звучать как «автомобильная авария», позже появился и «пьяный водитель».

«Самые простые объяснения, как правило, верны», – говорил профессор математики, доктор Ли; видимо, этот принцип применили и здесь. Однако в данном случае принцип не сработал. Математика – особая статья, в жизни все сложное не сведешь к простому.

Но вот что странно: по мере того как история дрейфовала в сторону аварии, у него появилась возможность переписать ее, просто согласившись со всеми. Но он не мог. Не мог он назвать это аварией; это была не авария. Гордость это или глупость – не воспользоваться таким удобным путем отступления? Он не знал.

А потом он заметил еще кое-что. У него случился очередной приступ – унижительный и тяжелый, он как раз заканчивал дежурство в библиотеке, а Виллем пришел его сменить на несколько минут раньше срока, и он услышал, как библиотекарьша, милая, начитанная женщина, спросила Виллема, что с ним такое. Они – миссис Икли и Виллем – перенесли его в комнату отдыха, где стоял сладковатый запах застарелого жженого кофе; от остроты этого ненавистного запаха его чуть не стошнило.

– Сбила машина, – донесся до него ответ Виллема, как будто с другого берега черного озера.

И только ночью до него дошло, что сказал Виллем, какие слова он выбрал: «сбила машина», а не «автомобильная авария». Нарочно ли это? Что он знает? Он так разволновался, что уже готов был спросить, но Виллема не было – он ночевал у девушки.

Никого нет, понял он. Комната принадлежит ему. Он почувствовал, как чуткий зверек внутри него расслабился, улегся – он представлял его хрупким, тощим, похожим на лемура, вечно настороженным и готовым к бегству, с темными влажными глазами, которые постоянно высматривают опасность. В такие минуты он особенно радовался колледжу: вот он лежит в теплой комнате, и завтра сможет трижды поесть досыта, и пойдет на занятия, и никто ничего ему не сделает, не заставит делать то, чего он делать не хочет. Где-то неподалеку находятся его соседи по общежитию – его друзья, – и он прожил еще один день, не выдав своих секретов; еще один день пролегал между тем, кем он был когда-то, и им теперешним. Этим достижением он заслужил сон, и можно закрыть глаза и приготовиться к следующему дню.

Всерьез о колледже с ним заговорила Ана, его первый и единственный социальный работник, первый человек, который ни разу его не предал, – о колледже, куда он в результате и поступил, в чем Ана заранее была уверена. Поступать в колледж ему предлагала не она одна, но именно она на этом сильнее всего настаивала.

«А почему бы и нет?» – говорила она.

Это было ее любимое выражение. Они с Аной сидели на веранде, на заднем дворе ее дома, и ели банановый хлеб, приготовленный девушкой Аны. Природу Ана особо не жаловала (все ползает, все копошится, говорила она), но когда он предложил выйти на воздух – робко, потому что тогда не совсем еще понимал границы дозволенного, – она, хлопнув по подлокотникам кресла, с усилием встала на ноги.

– А почему бы и нет? Лесли! – крикнула она Лесли, которая делала лимонад на кухне. – Тогда на улицу нам его вынеси!

Ана была первой, кого он увидел, когда очнулся в больнице. Сначала он долго не мог понять, где он, кто он и что с ним случилось, а потом – внезапно – перед ним возникло ее лицо.

– Так, так, – сказала она. – Просыпается.

Приходя в сознание, он всякий раз видел ее, как будто она никуда и не отлучалась. Иногда, очнувшись днем, перед тем как полностью прийти в себя, несколько зыбких, неясных секунд он слушал больничный шум – попискивание сестринских тапочек, дребезжание тележек, бормотание интеркома. Но иногда он просыпался ночью, в тишине, и тогда ему было труднее вспомнить, где он и как здесь очутился, а потом память к нему возвращалась, она всегда к нему возвращалась, и, в отличие от остальных мыслей, воспоминания эти с каждым разом не притуплялись, не становились легче. А иногда он заставал не день и не ночь, а что-то промежуточное, и окружавший его свет был каким-то странным, пыльным, и на миг ему казалось, что, быть может, он есть все-таки, этот рай, и что он все-таки туда добрался. И тут он слышал голос Аны и снова вспоминал, почему он здесь, и ему опять хотелось закрыть глаза.

В такие минуты они ни о чем не разговаривали. Она спрашивала, не голоден ли он, но, что бы он ни ответил, у нее всегда был наготове сэндвич. Она спрашивала, не больно ли ему, а если больно – насколько боль сильная. На ее глазах он пережил первые приступы, и тогда боль была такой страшной – почти невыносимой, будто кто-то ухватил позвоночник, как змею, и принялся трясти, стараясь выдернуть из нервных узлов, – что потом, когда хирург назвал его травму телесным «оскорблением», от которого тело никогда полностью не оправится, он понял, что тот хотел сказать и какое верное, какое точное выбрал слово.

– Вы что же, хотите сказать, что это у него на всю жизнь? – спросила Ана, и он был благодарен ей за эту вспышку гнева, потому что сам до того устал и перепугался, что на злость сил уже не осталось.

– Я и рад бы сказать, что нет, – ответил хирург и прибавил, обращаясь к нему: – Но со временем может стать полегче. Ты еще очень молод. У позвоночника превосходные способности к восстановлению.

– Джуд, – позвала она его, когда через два дня с ним случился второй приступ.

Он слышал ее голос сначала будто бы издалека, а затем, вдруг – ужасно близко, взрывами в голове.

– Держись за руку, – сказала она, и ее голос снова взмыл и затих, но тут она схватила его за руку, и он стиснул ее так крепко, что чувствовал, как ее указательный палец странно смыкается с безымянным, как чуть ли не каждая косточка в ее ладони поддается под его нажатием, отчего Ана вдруг показалась ему мягкой, ажурной, хотя ни в ее поведении, ни во внешности ничего мягкого не было.

– Считаю, – велела она ему во время третьего приступа, и он считал – до сотни, снова и снова, дробя боль на переносимые дозы. Тогда он еще не усвоил, что лучше всего лежать и не двигаться, и вертелся на кровати, на неласковом, неподатливом больничном матрасе, будто выброшенная на палубу рыба, пытаясь отыскать положение, в котором будет полегче, нашарить фал, чтоб вцепиться в него и спастись. Он старался вести себя потише, но сам

слышал, как издает странные, животные звуки, и потому иногда у него перед глазами возникал лес, населенный ушастыми совами, оленями, медведями, и он представлял, что он тоже зверь и что звуки он издает тоже совершенно нормальные, что они – часть несмолкающей музыки леса.

После приступа она давала ему воды в стакане с соломинкой, чтобы можно было пить, не поднимая головы. Пол под ним раскачивался и ходил ходуном, и его часто тошнило. Он ни разу в жизни не видел океана, но воображал, что там, наверное, все то же самое, воображал, как линолеум вздымается дрожащими буграми от напора воды.

– Вот молодец, – приговаривала она, пока он пил. – Попей еще.

– Потом станет полегче, – говорила она, и он кивал, потому что и представить себе не мог, как можно жить, если полегче не станет.

Его дни теперь превратились в часы: часы без боли и часы боли, непредсказуемость и этого расписания, и собственного тела – хотя тело теперь принадлежало ему только на словах, потому что он им совершенно не владел – его страшно утомляла, и он все спал, спал, и дни ускользали от него непрожитыми.

Потом ему проще будет говорить всем, что у него болят ноги, но это было не так: болела у него спина. Иногда он мог предугадать, что вызовет спазмы, вызовет боль, которая протянется от позвоночника до одной или другой ноги, воткнется в него горящим колом – определенные движения, если он, например, поднимал что-то тяжелое или за чем-нибудь тянулся, или обычная усталость. А иногда – не мог. А иногда боли предшествовал краткий период онемелости или покалывания, и оно было даже почти приятным, легким и пузырящимся, как будто по позвоночнику вверх-вниз пробежали разряды-иголки, и тогда он знал, что нужно лечь и ждать, пока не завершится весь цикл, наказание, от которого нельзя ни увильнуть, ни сбежать. Но бывали и дни, когда боль просто обрушивалась на него, и хуже них ничего не было: тогда он стал бояться, что приступ начнется в какое-нибудь самое неподходящее время, и потому перед каждой важной встречей, перед каждой важной беседой, перед каждым выступлением в суде он упрашивал спину уняться, дать ему спокойно пережить следующие несколько часов. Но это все ему еще только предстояло, и все, что нужно было усвоить, он усвоил за долгие часы приступов, которые растянулись на целые дни, месяцы и годы.

Шли недели, она носила ему книги, просила составить список того, что ему хочется прочитать, и тогда она возьмет эти книги в библиотеке, – но он робел. Он знал, что она назначена его социальным работником, но прошло больше месяца – и врачи уже начали поговаривать о том, что гипс ему снимут через считанные недели, – прежде чем она впервые спросила его о том, что случилось.

– Не помню, – ответил он.

Тогда он на все вопросы так отвечал. Лгал, конечно. Он отгонял от себя незваные видения: автомобильные фары несутся к нему двоящейся вспышкой белого, он зажмуривается, резко отворачивается, как будто этим можно предотвратить неизбежное.

Она ждала.

– Ничего страшного, Джуд, – сказала она. – В общих чертах мы знаем, что случилось. Но когда-нибудь тебе нужно будет мне об этом рассказать, чтобы мы смогли с тобой поговорить.

Помнит ли он, что они однажды об этом уже разговаривали? Оказывается, после первой операции он пришел в себя и в полном сознании ответил на все ее вопросы, не только о том, что произошло той ночью, но и обо всем, что ей предшествовало, – но этого он искренне не помнил и потом все переживал, думал, что же он там наговорил и с каким лицом Ана все это выслушивала.

Много ли он рассказал, спросил он однажды.

– Порядочно, – ответила она. – Мне хватило, чтобы поверить в то, что ад существует и этим людям там самое место.

Говорила она без злости, но слова были злыми, и он закрыл глаза, впечатленный и даже слегка напуганный тем, что случившееся с ним – с ним! – может вызвать у кого-то такую страстную реакцию, такую ярость.

Она организовала его переезд к последним на этот раз опекунам – Дугласам. У них было еще двое приемных детей, две маленьких девочки – Розы, восемь лет, синдром Дауна, Агнес, девять лет, расщепление позвоночника. Дом был похож на лабиринт из пандусов – неказистый, но удобный и основательный, и Джуд, в отличие от Агнес, мог самостоятельно передвигаться в кресле на колесах.

Дугласы были евангелические лютеране, но в церковь с собой ходить не заставляли.

– Они хорошие люди, – сказала Ана. – Проблем с ними не будет, и здесь тебя никто не тронет. Ну что, переживешь, если в обмен на личное пространство и гарантированную безопасность нужно будет помолиться перед едой?

Она взглянула на него, улыбнулась. Он кивнул.

– Кроме того, – добавила она, – если захочешь посквернословить, всегда можешь позвонить мне.

Он и вправду был скорее у Аны под опекой, чем у Дугласов. У Дугласов он спал и ел, а когда он учился ходить на костылях, мистер Дуглас сидел под дверью ванной, чтобы вовремя туда вбежать, если он вдруг поскользнется и упадет, залезая в ванну или вылезая из нее (он еще не очень твердо стоял на ногах, и мыться ему было трудно даже с ходунками). Но по врачам его водила Ана, и первые неуверенные шаги он сделал во дворе у Аны, которая сидела с сигаретой в зубах и ждала, пока он до нее доковыляет, и это Ана в конце концов убедила его написать обо всем, что случилось у доктора Трейлора, чтобы ему не пришлось выступать в суде. Он сказал, что может и в суд приехать, но Ана ответила, что он к этому не готов, что у них и без его показаний хватит доказательств, чтобы надолго упрятать доктора Трейлора за решетку, и он слушал ее с облегчением – значит, ему не придется вслух произносить то, для чего слов у него не находилось, не придется снова видеть доктора Трейлора. Когда он наконец записал свои показания – писать он старался как можно проще, представляя, что пишет о ком-то другом, о каком-то своем знакомом, с которым больше не обменяется ни словом, – и отдал ей, она с бесстрастным лицом прочла их один раз, кивнула.

– Хорошо, – отрывисто сказала она и вдруг внезапно расплакалась, почти завывала, не сумев сдержаться.

Она говорила что-то, но из-за рыданий он ничего не мог разобрать, и тогда она ушла, но позже вечером позвонила ему и извинилась.

– Прости, Джуд, – сказала она. – С моей стороны это было очень непрофессионально. Я просто прочла, что ты написал, и я просто... – Она помолчала, глубоко вздохнула. – Этого больше не повторится.

И когда врачи сочли, что он еще недостаточно окреп для того, чтобы ходить в школу, это Ана нашла ему репетитора, который подготовил его к выпускным экзаменам, и она же заставила его задуматься о колледже.

– Ты понимаешь, что ты очень умный? – спрашивала она. – Ты можешь поступить куда захочешь. Я поговорила с твоими учителями в Монтане, и они тоже так считают. Ты уже думал об этом? Думал? И куда бы ты хотел поступить? – Он сказал ей куда, внутренне готовясь к тому, что она рассмеется, но Ана в ответ только кивнула: – А почему бы и нет?

– Но, – начал он, – думаешь, они примут такого, как я?

И снова она не стала смеяться.

– Верно, образование ты получил не самое... традиционное, – она улыбнулась, – но ты превосходно сдал все экзамены, и, хоть сам ты, наверное, так не считаешь, но, верь мне, ты

знаешь куда больше многих своих сверстников, а может, и больше их всех. – Она вздохнула. – Видишь, хоть за что-то брату Луке можно сказать спасибо. – Она внимательно поглядела на него. – Так что... почему бы и нет?

Она помогала ему во всем: написала рекомендацию, разрешила напечатать эссе на своем компьютере (о прошлом годе он не писал, написал о Монтане и о том, как научился там искать грибы и побеги горчицы), даже подачу заявления оплатила.

Когда его зачислили в колледж – на полную стипендию, как и предсказывала Ана, – он сказал, что это все благодаря ей.

– Чушь собачья, – ответила она. К тому времени она была уже серьезно больна и могла только шептать. – Ты сделал все сам.

Потом, старательно вспоминая все предыдущие месяцы, он увидит, будто в свете прожектора, признаки болезни, которые из-за собственной глупости и эгоизма проглядел все до единого: и потерю веса, и пожелтевшие белки глаз, и усталость, которую он списывал на... на что?

– Не стоит тебе курить, – сказал он ей всего два месяца назад, когда уже так освоился в ее обществе, что начал распоряжаться – она была первым взрослым, с которым он мог так разговаривать.

– Ты прав, – ответила она и, прищурившись, глубоко затянулась сигаретой, а когда он вздохнул, рассмеялась.

Но даже тогда она продолжала стоять на своем.

– Джуд, нам с тобой нужно об этом поговорить, – то и дело повторяла она, он мотал головой, она молчала.

– Тогда завтра, – говорила она потом. – Обещаешь? Завтра мы с тобой поговорим.

– Не понимаю, зачем нам вообще об этом говорить, – однажды пробормотал он.

Он знал, что она читала его личное дело, которое прислали из Монтаны, он знал, что она знает, кто он такой.

Она помолчала.

– Если я что и знаю, – сказала она, – так это то, что о таких вещах надо говорить, пока они еще свежи в памяти. Иначе ты вообще о них никогда говорить не сможешь. Я хочу научить тебя о них говорить, потому что чем дольше ждешь, тем все это тяжелее и тяжелее, и оно так и будет гнить у тебя внутри, и ты вечно будешь думать, что это ты во всем виноват.

Он не знал, что на это ответить, но когда она снова заговорила об этом на следующий день, он помотал головой и не повернулся к ней, даже когда она его звала.

«Джуд, – однажды сказала она, – я тебе слишком долго позволяла об этом молчать. Я виновата». «Сделай это ради меня, Джуд», – сказала она в другой раз.

Но у него не получалось, не получалось даже понять, на каком языке об этом можно говорить, даже с ней. И, кроме того, ему не хотелось заново проживать прошлое. Ему хотелось о нем забыть, притвориться, что это чужое прошлое.

К июню она ослабела так, что даже сидеть не могла. Со дня их знакомства прошел год и два месяца, и теперь она лежала в кровати, а он сидел с ней рядом. Лесли работала в больнице в дневную смену, и часто они с ним оставались в доме вдвоем.

– Послушай, – сказала она.

От лекарств в горле у нее пересохло, и говорила она морщась. Он потянулся за кувшином с водой, но она нетерпеливо отмахнулась.

– Перед отъездом Лесли тебе поможет все купить, я ей написала список всего, что тебе понадобится.

Он было запротестовал, но она его оборвала:

– Джуд, не спорь со мной. У меня на это сил нет.

Она сглотнула. Он ждал.

– В колледже ты будешь молодцом, – сказала она и закрыла глаза. – Ребята тебя спрашивать будут о том, где ты вырос, ты думал об этом?

– Ну вроде того, – ответил он.

Он только об этом и думал.

– Гммм, – проворчала она. Она ему тоже не поверила. – Ну и что ты им скажешь?

– Не знаю, – признался он.

– Ну да, – сказала она.

Они помолчали.

– Джуд, – начала она и снова замолчала. – Ты сам придумашь, как говорить о том, что с тобой произошло. Тебе придется, если хочешь хоть с кем-нибудь в жизни близко сойтись. Но твоя жизнь... и не важно, что ты там думаешь, тебе стыдиться нечего, ни в чем случившемся ты не виноват. Это ты запомнишь?

И это, пожалуй, был единственный раз, когда они с ней хоть как-то заговорили о событиях не только прошлого года, но и всех предыдущих лет.

– Да, – сказал он.

Она строго поглядела на него.

– Обещай мне.

– Обещаю.

Но даже тогда он так и не смог ей поверить.

Она вздохнула.

– Так я тебя и не разговорила, а надо было, – сказала она.

Это было последним, что он от нее услышал. Две недели спустя – третьего июля – она умерла. Поминальная служба состоялась через неделю. Тогда он уже нашел подработку в местной кондитерской – сидел в подсобке и обмазывал торты глазурью, а после похорон стал задерживаться на работе до ночи, покрывал торт за тортом ядовито-розовой помадкой и старался не думать об Ане.

В конце июля уехали Дугласы: мистер Дуглас устроился на работу в Сан-Хосе, Агнес они забрали с собой, а Роза передали в другую семью. Дугласы ему нравились, но хоть они и просили его не пропадать, он знал, что писать им не будет – до того отчаянно ему хотелось сбежать подальше и от нынешней жизни, и от прошлой. Он мечтал стать человеком, которого никто не знает и который не знает никого.

Его определили в приют временного пребывания. Так он официально назывался – приют временного пребывания. Он отказывался, говорил, что он уже достаточно взрослый и справится сам (он совершенно безосновательно полагал, что спать сможет в кондитерской, у себя в подсобке), что он все равно через два месяца отсюда уедет, но его никто и слушать не стал. Приют оказался общежитием: в здании, похожем на просевшие серые соты, жили дети, которых – из-за того, что они сделали, или из-за того, что с ними сделали, или попросту из-за возраста – государство никуда не могло пристроить.

Перед отъездом ему выдали денег на покупку учебных принадлежностей. Джуд понял, что в приюте им даже немного гордились: может, он и не пробыл у них долго, зато он уезжал в колледж – да еще в какой колледж! – и теперь навсегда попал в список их побед. Лесли отвезла его в армейский магазин. Выбирая все, что могло ему пригодиться – два свитера, три футболки с длинными рукавами, брюки, серое одеяло, похожее на комковатую набивку, которой пучило во все стороны диван в приютском коридоре, – он все гадал, те ли вещи выбрал, совпал ли со списком, который написала Ана.

Он никак не мог отделаться от мысли, что в этом списке было что-то еще, что Ана сочла важным и нужным для него, но что это было – он так никогда и не узнает. По ночам он тосковал по этому списку, подчас даже больше, чем по ней. Этот список так и стоял у него перед глазами: слова, которые она писала мешаниной строчных и прописных букв, ее вечный

механический карандаш, желтые линованные блокноты, которые остались у нее еще с тех пор, когда она работала юристом. Иногда буквы сбивались в слова, и во сне он торжествовал – ага, думал он, ну конечно! Конечно, это же как раз то, что нужно! Конечно же Ана об этом подумала! Но по утрам он никогда не мог вспомнить, что же там такое было. Странно, но в такие минуты он жалел, что они с ней вообще познакомились, потому что лучше было бы не знать ее вовсе, чем узнать и почти сразу потерять.

Он ехал на север, автобусный билет ему купили, Лесли пришла проводить его на станцию. Все свои вещи он сложил в двухслойный мешок для мусора, мешок засунул в рюкзак, купленный в армейском магазине: всех пожитков – один аккуратный сверток. В автобусе он глядел в окно и ни о чем не думал. Он надеялся, что спина не подведет его во время поездки, и она не подвела.

В комнату он заселился первым, и когда туда вошел второй мальчик – им оказался Малкольм – с родителями, чемоданами, книжками, колонками, телевизором, телефонами, компьютерами, холодильником и целой флотилией разных технических устройств, он впервые почувствовал, как к горлу подкатывает страх, а затем и иррациональная злость – на Ану. Зачем она его убедила, будто ему это по силам? Как он объяснит, кто он такой? Почему она никогда ему не говорила, что вся его жизнь на самом деле – жалкая, безобразная, замызганная, окровавленная тряпка? Зачем помогла поверить, будто ему тут место?

Шли месяцы, и чувства эти притупились, но так никуда и не делись, он оброс ими будто тонким слоем плесени. Но стоило ему сжиться с этим знанием, как его начало мучить другое: он стал понимать, что Ана была единственным человеком, которому не нужно было ничего объяснять. Она знала, что он носит свою жизнь на коже, что его биография написана у него на теле и на костях. Она никогда не стала бы спрашивать, почему он не носит одежды с короткими рукавами, даже если на дворе настоящая парилка, и почему не любит, когда к нему прикасаются, или – самое важное – почему у него болят ноги и спина. Она уже обо всем знала. Общаясь с другими людьми, он обречен был вечно нервничать, вечно быть настороже, а с ней нет – быть все время начеку было утомительно, но постепенно это стало частью его жизни, привычкой вроде умения держать осанку. Однажды она потянулась к нему, чтобы обнять (это он, правда, потом уже понял), а он непроизвольно вскинул руки к голове, закрылся, защищаясь, но, хоть он и смутился, она ничем не показала, что он повел себя глупо или необоснованно. «Вот я идиотка, Джуд, – только и сказала она. – Прости. Обещаю, больше никаких резких движений».

Но теперь она умерла, и больше его никто не знал. Его досье было засекречено. На первое Рождество Лесли прислала ему открытку – на адрес учебного управления, и он долго хранил это последнее звено, связывавшее его с Аной, но потом все равно выбросил. Он так и не ответил Лесли, и она больше ему не писала. У него была новая жизнь. Он изо всех сил старался ее не испортить.

Но иногда он все-таки вспоминал эти их последние беседы, проговаривал их вслух. Это случалось по ночам, когда его соседи – в самых разных сочетаниях, все зависело от того, кто был в комнате – спали над ним и рядом с ним. «Нельзя, чтобы молчание вошло у тебя в привычку», – предостерегала она его перед самой смертью. И еще: «Тебе можно злиться, Джуд, сдерживаться не нужно».

Он всегда думал, что она насчет него ошибалась, он оказался совсем не тем, кем она его считала. «Парень, тебя ждут великие дела», – однажды сказала она, и он хотел ей верить, хоть и не мог.

Но в одном она оказалась права: ему действительно было все тяжелее и тяжелее. И он действительно думал, что это он во всем виноват. И хотя он старался не забывать о своем обещании, с каждым днем оно от него отдалялось, пока не превратилось в простое воспоминание, как и сама она – в любимого персонажа книги, которую он прочел давным-давно.

«Люди делятся на два вида, – говорил судья Салливан. – Те, кто склонен верить, и те, кто не склонен. В моем зале суда мы ценим веру. Веру во все».

Он часто делал это заявление, после чего, кричась, вставал на ноги – он был очень тучным – и вперевалку шел к двери. Обычно это происходило в конце рабочего дня – по крайней мере, рабочего дня Салливана, – когда он выходил из кабинета, чтобы побеседовать со своими тремя референтами. Салливан присаживался на край чьего-нибудь стола и заводил довольно туманные речи, прерываемые долгими паузами, словно перед ним не референты, а писцы, которые должны увековечить каждое его слово. Но никто не записывал, даже Керриган, самый консервативный из троих и действительно склонный верить.

Потом судья уходил, а он через комнату улыбался Томасу, который в ответ закатывал глаза, как бы извиняясь и говоря: «А что я могу сделать?» Томас тоже был консерватор, но «мыслящий консерватор» и не уставал об этом напоминать. «И сам факт, что я должен это подчеркивать, – позор».

Они с Томасом начали работать у судьи в один год; у Салливана была неформальная поисковая сеть, и в нее входил один из его преподавателей, старый друг судьи; именно от этого преподавателя, специалиста по торгово-промышленным организациям, он и получил предложение пройти собеседование, как-то весной, на втором курсе юридической школы, а Гарольд уговорил его согласиться. Салливан был известен среди коллег по окружному суду тем, что всегда нанимал одного референта, чьи политические взгляды радикально отличались от его собственных, чем радикальней, тем лучше. (Его последний референт-либерал впоследствии стал работать на Движение за независимость Гавайских островов, ратующее за отделение от США, и этот карьерный кульбит вызывал у судьи приступ мрачного удовлетворения.)

– Салливан меня ненавидит, – сказал Гарольд так, словно ему это льстило. – Он тебя возьмет, просто чтоб мне досадить. – Он улыбнулся, смакуя эту мысль. – И потому, что ты самый блестящий студент за всю мою преподавательскую карьеру.

От этого комплимента он устоял в пол: другие часто передавали ему похвалы Гарольда, но он редко слышал их напрямую.

– Не уверен, что я для него достаточно либерален, – ответил он.

Для Гарольда-то он точно был недостаточно либерален: они спорили о разных вещах, и нередко – о его мнениях, о том, как он толковал закон, как он применял его к жизни.

– Достаточно, уж поверь мне, – фыркнул Гарольд.

Но когда на следующий год он отправился на собеседование в Вашингтон, Салливан говорил с ним о праве и политической философии с гораздо меньшим пылом и вовсе не так подробно, как он ожидал.

– Я слышал, вы поете, – сказал судья вместо этого, после того как они в течение часа беседовали об учебной программе (судья закончил ту же юридическую школу), о его работе в должности редактора студенческого журнала (эту же должность занимал когда-то судья) и его соображениях по поводу недавних судебных процессов.

– Пою, – ответил он, недоумевая, откуда судья об этом узнал. Он что, пел в офисе Гарольда и там его подслушали? А еще он иногда пел в юридической библиотеке, когда поздно ночью расставлял книги на полках, и там было тихо и пусто, как в церкви, – может, тогда кто-то слышал?

– Спойте что-нибудь, – сказал судья.

– Что бы вы хотели услышать, сэр? – спросил он.

Он нервничал бы гораздо сильнее, если бы не знал заранее, что судья потребует от него какого-то представления (по легенде предыдущему соискателю пришлось жонглировать), и он слышал, что Салливан – любитель оперы.

Судья поднес толстые пальцы к толстым губам и задумался.

– Гм... Спойте мне что-нибудь, что расскажет что-то о вас.

Он задумался на мгновение и запел. Он и сам удивился своему выбору: *Ich bin der Welt abhanden gekommen* Малера – он ведь не очень-то любил Малера, и песня была трудной в исполнении, медленной, печальной, прихотливой, не предназначенной для тенора. Но ему нравилось стихотворение, которое его учитель вокала в колледже обозвал «второсортным романтизмом»: сам он считал, что во всем виноват переводчик. Обычно первую строку переводили «я потерян для мира», но он читал ее иначе: «я отошел от мира», что, как ему казалось, меньше отдаст жалостью к себе и мелодрамой, в этой фразе больше достоинства, поиска: «Я отошел от этого мира, / В котором впустую потратил время». Песня рассказывала о жизни художника, а художником он, безусловно, не был. Но он понимал всем своим существом идею потери мира, отстранения и ухода от него, исчезновения в другом измерении, в убежище, в безопасности, двойную жажду бегства и открытия. «И все равно мне, пусть другие скажут, / Что жизнь покинула меня; / я соглашусь и спорить не стану: / и вправду умер для мира я».

Когда он закончил и открыл глаза, судья смеялся и аплодировал.

– Bravo! – сказал он. – Bravo! Только не ошиблись ли вы в выборе профессии? – Он снова рассмеялся. – Где вы научились так петь?

– У монахов, сэр.

– А, католический мальчик? – спросил судья, устранившись в кресле поудобнее, готовый обрадоваться.

– Меня растили католиком, – начал он.

– Но вы больше не католик? – нахмурился судья.

– Нет, – ответил он.

Он годами работал над тем, чтобы говорить это без извиняющейся нотки в голосе.

Салливан проворчал что-то неразборчивое и добавил, прежде чем взглянул на резюме:

– Ну, в любом случае они вас обеспечили какой-никакой защитой от чепухи, которую Гарольд Стайн вбивал вам голову последние несколько лет. Вы его научный ассистент?

– Да, уже два года, – ответил он.

– Светлый ум пропадает понапрасну, – провозгласил Салливан (было неясно, имеет он в виду его или Гарольда). – Спасибо, что пришли, с вами свяжутся. И спасибо за песню, давно я не слышал такого красивого тенора. Вы уверены, что правильно выбрали профессию?

Судья еще раз улыбнулся – и с тех пор он больше никогда не видел у Салливана такой искренней и радостной улыбки.

Вернувшись в Кеймбридж, он рассказал Гарольду о встрече («Ты поёшь?!» – спросил Гарольд, как будто он заявил, что умеет летать) и добавил, что, скорее всего, места не получит. Через неделю позвонил Салливан: его взяли. Он удивился, а Гарольд – нет. «Я же говорил», – сказал он.

На следующий день он, как обычно, пришел в кабинет Гарольда, но тот был уже одет и готов к выходу.

– На сегодня нормальная работа отменяется, – объявил он. – Мне нужна твоя помощь в кое-каких делах.

Это было необычно, но Гарольд вообще был необычный. Возле машины Гарольд протянул ему ключи:

– Хочешь за руль?

– Конечно, – ответил он и пошел к водительскому месту. На этой машине он год назад учился водить, а Гарольд сидел с ним рядом и проявлял куда больше терпения, чем в учебной

аудитории. «Хорошо, – говорил он, – отлично. Чуть сцепление отпусти, вот так. Хорошо, Джуд, хорошо».

Гарольду нужно было забрать у портного рубашки, которые он отдавал перешить, и они поехали в маленький дорогой магазин мужской одежды на краю площади, где в последний год колледжа подрабатывал Виллем.

– Пойдем со мной, – распорядился Гарольд, – мне понадобится помощь.

– Господи, Гарольд, сколько же рубашек ты купил? – спросил он.

Неизменный гардероб Гарольда состоял из голубых и белых рубашек, коричневых вельветовых брюк (зимой), льняных брюк (весной и летом) и свитеров разных оттенков зеленого и синего.

– А ну-ка тихо, – сказал Гарольд.

Войдя в магазин, Гарольд пошел за продавцом, а он ждал, пробегая пальцами по галстукам в витринах, свернутых и ярких, как пирожные. Малкольм отдал ему два старых легких костюма, которые он ушил и носил две летние практики подряд, но для собеседования с Салливаном ему пришлось одолжить костюм у соседа по общежитию, и он старался двигаться как можно осторожнее, ощущая ширину этого чужого костюма, изысканную тонкость шерсти.

Он услышал, как Гарольд сказал: «Вот он», – и когда он повернулся, рядом с Гарольдом стоял маленький человечек, у которого с шеи, будто змея, свисал портняжный метр.

– Ему понадобятся два костюма, темно-серый и синий, и давайте еще дюжину рубашек, несколько свитеров, галстуки, носки, ботинки: у него ничего нет. – Ему Гарольд сказал: – Это Марко. Я вернусь через час-другой.

– Погоди, – сказал он. – Гарольд, что ты делаешь?

– Джуд, тебе нужно что-то носить. Я не большой специалист по этой части, но ты не можешь заявиться в судейскую к Салливану в таком виде.

Ему стало не по себе: от собственной одежды, от нищеты, от щедрости Гарольда.

– Я знаю, – сказал он. – Но я не могу принять такой подарок, Гарольд.

Он хотел еще что-то добавить, но Гарольд встал между ним и Марко и взял его за плечи.

– Джуд, – сказал он. – Прими его. Ты заслужил. Более того, тебе это необходимо. Я не позволю тебе опозорить меня перед Салливаном. И потом, я уже заплатил, и деньги мне не вернут. Верно, Марко?

– Верно, – тут же отозвался Марко.

– Все, Джуд, – сказал Гарольд, видя, что он снова хочет заговорить. – Мне пора.

И, не оглядываясь, вышел.

И вот он стоял перед трехстворчатым зеркалом, наблюдая за Марко, который возился у его лодыжек, но когда тот коснулся его ноги выше, промеряя внутренний шов, он непроизвольно дернулся. «Тише, тише», – произнес Марко, словно перед ним стояла нервная лошадь, и похлопал его по ноге, опять-таки как хлопают лошадь, а когда он снова невольно брыкнул ногой при замере второй брючины, Марко сказал:

– Эй, у меня булавки во рту!

– Простите, – сказал он и заставил себя стоять смирно.

Когда Марко закончил, он посмотрел на себя в новом костюме: о, какая это была анонимность, какая броня. Если даже кто-то случайно заденет его спину, то не почувствует под всеми этими слоями неровности шрамов. Все закрыто, все спрятано. Если стоять смирно, можно сойти за кого угодно, стать незаметным, невидимым.

– Пожалуй, еще полдюйма, – сказал Марко, забирая немного ткани на спине в районе талии. Он стянул нитки с рукава. – Осталось только сделать хорошую стрижку.

Гарольд ждал его возле галстуков и, подняв глаза от журнала, спросил: «Ну, все?» – с таким видом, будто все это была его идея, а Гарольд лишь потакал его капризу.

За ранним ужином он снова пытался благодарить Гарольда, но каждый раз тот останавливал его все с большим раздражением.

– Джуд, тебе никогда не говорили, что иногда можно просто что-то принять, не раздумывая?

– Ты сам говорил, что ничего нельзя принимать, не раздумывая.

– В учебной аудитории и в зале суда, – уточнил Гарольд. – Но не в жизни. Понимаешь, Джуд, в жизни иногда с хорошими людьми случается что-то хорошее. Не беспокойся, это бывает нечасто. Но когда это происходит, хороший человек может просто сказать «спасибо», и все, потому что ведь тот, кто сделал ему доброе дело, сам получил от этого удовольствие и, может быть, совсем не хочет знать сто причин, почему человек, которому он сделал что-то хорошее, совершенно того не заслуживает и не стоит.

Тогда он замолчал и после ужина позволил Гарольду отвезти его домой на Херефорд-стрит.

– И кстати, – сказал Гарольд, когда он вылезал из машины, – тебе все это очень, очень идет. Ты очень хорош собой, я надеюсь, тебе это уже говорили. – И, прежде чем он успел возразить, добавил: – Комплимент тоже можно принять, Джуд.

И он проглотил свои возражения.

– Спасибо тебе, Гарольд. За все.

– Всегда пожалуйста, Джуд. Увидимся в понедельник.

Он стоял у дома и смотрел вслед машине Гарольда, а потом поднялся в квартиру на втором этаже особняка, стоявшего по соседству со зданием студенческого братства Массачусетского технологического института. Владелец особняка, профессор социологии на пенсии, жил внизу, а три верхних этажа сдавал аспирантам: на самом верху жили Сантош и Федерико, которые писали диссертации по электронной технике в Массачусетском технологическом, под ними – Януш и Исидор, оба аспиранты из Гарварда (Януш занимался биохимией, а Исидор – религиями Ближнего Востока), а под ними – он и его сосед Чарли Ма, которого по-настоящему звали Цзянь-Мин Ма; его все называли Си-Эм. Си-Эм был интерном в Медицинском центре Тафтса, и их расписание находилось в противофазе: когда он просыпался, дверь Си-Эм была закрыта, и из-за нее доносился влажный залиvistый храп, а когда он в восемь возвращался домой от Гарольда, Си-Эм уже не было. Но хотя виделись они редко, он испытывал к Си-Эм симпатию – тот был из Тайбэя, закончил школу-интернат в Коннектикуте, улыбался так сонно и плутовато, что хотелось улыбнуться в ответ, и был приятелем приятеля Энди (так они и познакомились). Несмотря на постоянный томно-обкуренный вид, Си-Эм был опрятен и любил готовить: иногда он приходил домой и находил посреди стола тарелку поджаренных пельменей с запиской «СЪЕШЬ МЕНЯ» или получал сообщение с просьбой перевернуть в маринаде курицу, прежде чем ляжет, или купить кинзы по дороге домой. Он всегда выполнял эти просьбы и потом ел курицу, протушенную в соусе, или сложенный блинчик из морских гребешков с начинкой из мелко рубленной кинзы. Когда раз в несколько месяцев их свободное время совпадало, все шестеро собирались в квартире Сантоша и Федерико – самой большой, – чтобы вместе поужинать и сыграть в покер. Януш и Исидор жаловались, что девушки считают их геями, поскольку они вечно проводят время вместе (Си-Эм косился на него: они заключили пари на двадцать долларов, что Януш и Исидор спят вместе и только притворяются натуралами – в любом случае доказать это было невозможно), а Сантош и Федерико жаловались, какие у них тупые ученики и как ужасно упал уровень студентов в Массачусетском технологическом институте за те пять лет, что прошли с их выпуска.

Их с Си-Эм квартирka была самой маленькой, поскольку половину этажа хозяин превратил в склад. Си-Эм существенно больше платил за квартиру и ночевал в спальне, а ему достался угол гостиной возле окна с эркером. Кровать представляла собой ненадежное

сооружение, нечто среднее между тюфяком и коробкой для яиц, а книги были сложены под подоконником; еще у него имелись лампа и бумажная ширма, которой можно было отгородиться. Они с Си-Эм купили большой деревянный стол, который поставили в столовой, в нише, у них было два металлических складных стула – один достался им от Януша, другой от Федерико. Половина стола принадлежала ему, половина – Си-Эм, обе половины были завалены книгами и бумагами, на каждой стоял ноутбук, днем и ночью издающий булькающие и чирикающие звуки.

Всех поражала аскетичность этой квартиры, но он почти перестал замечать ее – хотя и не совсем. Сейчас, например, он сидел на полу рядом с тремя картонными коробками, в которых хранил одежду, перебирал свои новые свитера, рубашки, носки, ботинки, завернутые в белую папиросную бумагу, клал на колени каждый предмет по очереди. У него никогда раньше не было ничего настолько красивого, и казалось немыслимым сложить эти вещи в картонные коробки из-под папок, так что он снова все завернул и сложил в пакеты.

Щедрость Гарольдовых даров вывела его из равновесия. Во-первых, сами дары. Никогда, никогда в жизни не получал он ничего настолько роскошного. Во-вторых, невозможность отплатить за эту щедрость. И, в-третьих, скрывавшийся за жестом смысл: он уже понял, что Гарольд уважает его и даже радуется его обществу. Но можно ли вообразить, что он по-настоящему дорог Гарольду, что он для него больше чем ученик, что они по-настоящему стали друзьями? И если так, почему его это смущает?

Несколько месяцев он привыкал к обществу Гарольда – не в аудитории или в кабинете, а за их пределами. В жизни, как сказал бы Гарольд. Он возвращался домой после ужина у Гарольда с огромным облегчением. И он знал почему, хотя не хотел сознаваться в этом даже себе: обычно мужчины – взрослые мужчины, к которым он себя все еще не причислял, – интересовались им только по одной причине, и он привык их опасаться. Гарольд, правда, был не похож на таких мужчин. (Но ведь и брат Лука не был на них похож.) Кажется, он боялся всего на свете – и ненавидел себя за это. Страх и ненависть, страх и ненависть: порой ему казалось, что он не умеет испытывать других чувств. Страх перед всеми, ненависть к себе.

Он слышал о Гарольде раньше, чем познакомился с ним, потому что о Гарольде слышали все. Гарольд неустанно задавал вопросы: любая реплика, прозвучавшая на его лекции, рассматривалась со всех сторон, градом сыпались бесконечные «почему». Он был подтянутый, высокий и имел привычку ходить по кругу, наклонившись вперед, когда был увлечен или взволнован.

Из того первого курса лекций по договорному праву, который читал им Гарольд, он, к своему большому сожалению, многого просто не запомнил. Например, он не помнил, чем так заинтересовала Гарольда его работа, из-за которой они стали иногда беседовать вне учебной аудитории, пока в конце концов Гарольд не предложил ему место научного ассистента. Он не мог припомнить, что такого интересного говорил на занятиях. Но он прекрасно помнил речь Гарольда в первый день семестра, когда тот мерял шагами аудиторию и говорил с ними своим низким оживленным голосом.

– Вы поступили в юридическую школу, – сказал Гарольд, – и я вас всех с этим поздравляю. Вам предстоит прослушать обычный набор курсов: договоры, деликты, собственность, гражданское судопроизводство; на следующий год – конституционное и уголовное право. Это вы знаете и без меня. Но вот чего вы, скорее всего, не знаете: ваша программа отражает – красиво и просто – саму структуру нашего общества, ту механику, которая необходима, чтобы общество – наше с вами общество – успешно функционировало. Для того чтобы общество существовало, нам прежде всего необходимы организационные рамки: это конституционное право. Нужна система наказаний: это уголовное право. Нужна система, которая заставит работать другие системы: это гражданское судопроизводство. Нужно регулиро-

вать владение собственностью: это имущественное право. Нужно сделать так, чтобы кто-то отвечал деньгами за ущерб, нанесенный вам другими: это гражданская ответственность. И наконец, нужно сделать так, чтобы люди соблюдали свои договоренности, выполняли обещания, – а это договорное право.

Он сделал паузу.

– Я не хочу упрощать, но могу поспорить, что половина из вас пришла сюда затем, чтобы впоследствии выкачивать из людей деньги – на то и гражданская ответственность, тут нечего стыдиться! – а другая половина пришла сюда затем, чтобы изменить мир. Вы мечтаете выступать перед Верховным судом, потому что думаете, будто самое сложное в законе прячется между строк Конституции. Но моя задача в том, чтобы сказать вам: вы ошибаетесь. Самая истинная, интеллектуально требовательная, самая богатая область юриспруденции – это договорное право. Договоры – не просто листы бумаги, которые обещают вам работу, или дом, или наследство; в самом чистом, точном, широком смысле договоры – истинная сущность закона. Когда мы решаем жить в обществе, мы заключаем договор, соглашаемся жить по правилам, которые этот договор нам диктует, – ведь и сама Конституция есть договор, хотя и довольно гибкий, и вопрос о том, насколько он гибок, как раз и есть та точка, где пересекаются интересы закона и политики, – по этим правилам, писанным или неписанным, мы обещаем не убивать, не красть, платить налоги. В этом случае мы одновременно и создатели договора, и его субъекты: как граждане этой страны мы с рождения берем на себя обязательство уважать и исполнять его условия и делаем это ежедневно.

На моих занятиях вы, конечно, будете изучать механику договора: как его составляют, как нарушают, насколько он нас связывает и как с ним развязаться, – но я также попрошу вас взглянуть на право в целом как на совокупность договоров. Одни договоры более справедливы, другие – менее; на сей раз в виде исключения я позволю вам об этом поговорить. Но справедливость – не единственное и даже не самое важное соображение, когда речь идет о законе: закон не всегда справедлив. Договоры далеко не всегда справедливы. Но иногда эта несправедливость необходима, она нужна, чтобы общество могло функционировать. В ходе моего курса вы узнаете разницу между понятиями «справедливо» и «законно» и еще – и это тоже очень важно – между тем, что справедливо и что необходимо. Вы узнаете о тех обязательствах, которые мы несем друг перед другом как члены общества, и насколько далеко общество может пойти, чтобы принудить нас к их исполнению. Вы научитесь смотреть на свою жизнь – жизнь каждого из нас – как на череду договоров, и это заставит вас увидеть по-новому не только закон, но и эту страну и ваше место в ней.

Он был захвачен речью Гарольда и в последующие недели восхищался тем, как оригинально тот мыслит, как стоит перед аудиторией, словно дирижер, преобразуя студенческие споры в странные, невиданные конструкции. Однажды довольно невинная дискуссия о праве на неприкосновенность частной жизни – самое драгоценное и самое туманное из конституционных прав, согласно Гарольду, чье определение договорного права часто выходило за общепринятые границы и плавно перетекало в другие области юриспруденции – перешла в их с Гарольдом спор об абортах, которые, как он считал, были необходимы с социальной точки зрения, хотя и не имели оправданий с нравственной.

– Ага! – сказал Гарольд; он был одним из немногих преподавателей, допускавших не только юридические, но и моральные аргументы. – И что же произойдет, мистер Сент-Фрэнсис, если мы, создавая законы, отбросим мораль ради социального регулирования? В какой момент страна и люди в ней должны предпочесть социальный контроль нравственному чувству? Есть ли такая точка? Не думаю.

Но он не сдавался, а притихшая аудитория следила за их спором.

Гарольд написал три книги, но прославила его последняя из них, «Американское рукопожатие. Победы и поражения Декларации независимости». Ее он прочел еще до знаком-

ства с Гарольдом; это была юридическая трактовка Декларации независимости: какие из ее обещаний были выполнены, а какие нет, и если бы ее писали сегодня, прошла ли бы она проверку на соответствие критериям современной юриспруденции («Вкратце – нет», писал рецензент в «Нью-Йорк таймс»). Теперь Гарольд собирал материалы для четвертой книги, своего рода продолжения предыдущей: в ней он планировал рассмотреть Конституцию примерно в том же ключе.

– Но только Билль о правах и самые аппетитные поправки, – сказал ему Гарольд, когда проводил с ним собеседование на должность научного ассистента.

– Я не знал, что одни аппетитнее других, – сказал он.

– А как же! Только одиннадцатая, двенадцатая, четырнадцатая и шестнадцатая по настоящему заводят, остальные – осадок политического прошлого.

– Значит, тринадцатая – отстой? – переспросил он, наслаждаясь моментом.

– Я не сказал «отстой», – возразил Гарольд, – они просто не так актуальны.

– Но я думал, что осадок и отстой – одно и то же.

Гарольд наигранно вздохнул, схватил со стола словарь, полистал его и некоторое время внимательно вчитывался в определение.

– Ну ладно, – сказал он наконец, швырнув словарь на грудку бумаг, которая опасно покоилась под весом толстого тома. – Твоя взяла. Но я имел в виду буквальное значение: остаток, остаток политического прошлого, доволен?

– Да, – сказал он, стараясь не улыбнуться.

Он начал работать у Гарольда по вечерам понедельника, среды и пятницы, когда учебная нагрузка была полегче – по вторникам и четвергам у него были вечерние семинары в Массачусетском технологическом, где он учился на магистерскую степень, а по ночам он работал в юридической библиотеке. По субботам он работал в библиотеке утром, а во второй половине дня – в кондитерской «Глазурь» рядом с медицинским колледжем; в этой кондитерской он начал работать еще студентом и выполнял спецзаказы: украшал пирожные, изготавливал сотни сахарных цветочных лепестков для тортов; экспериментировал с разными рецептами, один из которых, торт «Десять орехов», стал хитом продаж. По воскресеньям он тоже работал в «Глазури» и однажды получил от хозяйки, Эллисон, всегда доверявшей ему самые сложные задачи, заказ на три дюжины сахарных печений, которые надо было испечь и украсить в форме различных бактерий.

– Только ты можешь в этом разобраться, – сказала она. – Жена клиента – микробиолог, он хочет подготовить сюрприз для всей ее лаборатории.

– Я постараюсь, – сказал он, беря у нее из рук бланк заказа, на котором стояло имя клиента: Гарольд Стайн. Он провел небольшое исследование, посоветовался с Си-Эм и Янушем и изготовил печенье, похожие на пейсли, на булавы, на огурцы, а потом с помощью разноцветной глазури изобразил на каждом цитоплазму, клеточные мембраны, рибосомы, сделал жгутики из полосок лакрицы. Он напечатал листок с названиями бактерий и вложил его в коробку, прежде чем перевязать ее бечевкой; он тогда не очень хорошо знал Гарольда, но был рад что-то для него сделать, произвести впечатление, пусть даже и анонимно. И ему было приятно гадать, что они празднуют: публикацию статьи? День рождения? Он просто заботливый муж? Или, может быть, Стайн из тех людей, кто может заявиться в лабораторию жены с коробкой печенья без всякой причины? Он подозревал, что да.

На следующей неделе Гарольд рассказал ему о потрясающих печеньях, которые испекли в «Глазури». Энтузиазм Гарольда, который всего несколько часов назад в аудитории был обращен на Единообразный торговый кодекс, теперь нашел себе новую пищу: печенье. Он сидел, кусая губы, чтобы не улыбаться, пока Гарольд говорил ему, как гениально был выполнен заказ, и как вся лаборатория Джулии просто онемела от того, как тщательно, как

правдоподобно все было сделано, и как Гарольд на минутку стал всеобщим кумиром: «А от них ведь не дожدهшься, между прочим, они всех гуманитариев считают тупицами».

– Похоже, эти печенья делал какой-то маньяк, – сказал он.

Он не говорил и не собирался говорить Гарольду, что работает в кондитерской.

– Хотел бы я познакомиться с этим маньяком, – откликнулся Гарольд. – Они были еще и вкусные!

– Мм... – протянул он, думая, что бы еще такое спросить, чтобы Гарольд продолжал говорить о печеньях.

У Гарольда, конечно, были и другие научные ассистенты, двое со второго курса и один с третьего, которых он знал только в лицо; их расписание было устроено так, что они никогда не пересекались. Иногда они писали друг другу записки или общались по электронной почте, объясняя, на чем остановились, чтобы другой мог подхватить работу и продолжить с нужного места. Но во втором семестре первого курса Гарольд выделил ему собственный участок работы – Пятую поправку.

– Отличная тема, – сказал Гарольд. – Самый смак.

Два второкурсника занимались Девятой поправкой, а третьекурсник – Десятой, и хотя он понимал, что это смешно, он не мог не торжествовать, чувствуя, что ему оказали особую честь.

Гарольд впервые пригласил его к себе на ужин внезапно, холодным и темным мартовским вечером.

– Вы уверены? – робко спросил он.

Гарольд взглянул на него с любопытством.

– Конечно, – сказал он. – Это просто ужин. Есть-то надо, верно?

Гарольд жил в трехэтажном доме в Кеймбридже, прямо за кампусом.

– Не знал, что вы здесь живете, – сказал он, когда Гарольд припарковался у входа. – Люблю эту улицу. Я каждый день ходил по ней, чтобы срезать путь к другой части кампуса.

– Все так делают, – ответил Гарольд. – Когда я купил дом, перед самым разводом, в этом районе жили одни аспиранты; все ставни отваливались. Запах травки стоял такой, что можно было окосеть, просто проезжая мимо.

Шел снег, совсем не сильно, но он был рад, что у крыльца всего две ступеньки: вероятность поскользнуться невелика, и не придется просить Гарольда о помощи. Внутри пахло маслом, перцем, крахмалом: на ужин паста, подумал он. Гарольд бросил портфель на пол и провел краткую экскурсию: «Гостиная, за ней кабинет, кухня и столовая – налево»; и вышла Джулия, высокая, как Гарольд, с короткими каштановыми волосами – она сразу же ему понравилась.

– Джуд! – сказала она. – Наконец-то! Я столько о тебе слышала; я так счастлива, что мы познакомились наконец!

Похоже, она говорила искренне.

За ужином завязалась беседа. Джулия была родом из Оксфорда, из профессорской семьи, в Америку она переехала, когда поступила в аспирантуру в Стэнфорде; они с Гарольдом познакомились пять лет назад в гостях у общего знакомого. Ее лаборатория изучала новый вирус, возможно, вариант H5N1, и они пытались картировать его геном.

– Я правильно понимаю, что микробиологов едва ли не больше всего беспокоит потенциальная возможность использовать эти геномы как оружие? – спросил он и скорее почувствовал, чем увидел, как Гарольд повернулся к нему.

– Да, это правда, – сказала Джулия и стала объяснять сложности, проистекающие из их работы, а он украдкой посмотрел на Гарольда и увидел, что тот наблюдает за ним; поймав его взгляд, Гарольд поднял одну бровь с выражением, которое он затруднился расшифровать.

Но потом беседа потекла в другом русле, и он почти видел, как она неуклонно передвигается от Джулии и ее лаборатории к нему, видел, как преуспел бы Гарольд в зале суда, если бы выбрал эту стезю, как он перенаправляет беседу, словно это вода, которую можно пустить по желобам и трубам, не давая возможности свернуть с пути, направляя к неизбежной цели.

– А ты, Джуд, где жил раньше? – спросила Джулия.

– В Южной Дакоте и Монтане в основном, – ответил он, а зверек внутри вскинулся, почуяв опасность и не зная, куда бежать.

– У твоих родителей там ранчо? – спросил Гарольд.

За последние годы он научился предсказывать последовательность вопросов и уклоняться от них.

– Нет, но у многих там ранчо, это красивые места; а вы бывали на Западе?

Обычно этого хватало, но с Гарольдом номер не прошел.

– Ха! – сказал он. – Какой изящный маневр. – Гарольд пристально смотрел на него, так что он отвел взгляд и уставился в тарелку. – Ты таким образом даешь понять, что не скажешь нам, чем они занимаются?

– Ох, Гарольд, отстань от него, – сказала Джулия, но он чувствовал, что Гарольд не сводит с него взгляда, и был рад, когда ужин закончился.

После того первого вечера у Гарольда их отношения стали ближе и сложнее. Он чувствовал, что раздражил любопытство Гарольда, он представлял его себе в виде насторожившегося смышленного пса – терьера, например, энергичного и неутомимого, – и не был уверен, что это хорошо кончится. Ему хотелось лучше узнать Гарольда, но за ужином он в очередной раз вспомнил, что этот процесс – узнавание кого-то – неизбежно оказывается опаснее, чем ему думалось. Он всегда об этом забывал, и всегда приходилось вспоминать заново. Ему хотелось, как это часто бывало, проскочить этап, когда люди обмениваются секретами и воспоминаниями, телепортироваться на следующую стадию, когда отношения становятся уютными, мягкими, разношенными, когда границы определены и соблюдаются обеими сторонами.

Другой человек сделал бы еще пару попыток, но потом все равно бы оставил его в покое, ведь его все оставили в покое в конце концов – друзья, сокурсники, другие преподаватели, – но от Гарольда отделаться было не так легко. Даже обычный метод, который он так успешно применял к своим собеседникам – мол, он хотел бы узнать побольше об их жизни, а не говорить о своей, тактика не только выигрышная, но и правдивая, – не действовал на Гарольда. Он никогда не знал, в какой момент терьер снова на него напрыгнет, и каждый раз оказывался не готов, и чем больше времени они проводили вместе, тем менее свободно он себя чувствовал.

Например, они могли сидеть в кабинете Гарольда и обсуждать дело о позитивной дискриминации Университета Западной Виргинии, которое слушалось в Верховном суде, и Гарольд вдруг спрашивал: «Джуд, а ты каких кровей?» – «Смешанных», – отвечал он и пытался сменить тему, даже если для этого приходилось уронить на пол стопку книг.

Иногда вопросы возникали стихийно, вне контекста, без всякой преамбулы, так что их невозможно было предугадать. Однажды они с Гарольдом заработались в офисе допоздна, и Гарольд заказал ужин с доставкой. На десерт там были печенье и брауни, и Гарольд придвинул к нему пакет.

– Нет, спасибо, – отказался он.

– Не будешь? – Гарольд поднял бровь. – Мой сын любил такие. Мы пытались печь их дома, но всегда получалось как-то не так. – Он разломил брауни пополам. – А тебе родители пекли что-нибудь, когда ты был маленьким? – Гарольд задавал эти вопросы с нарочитой непринужденностью, которая казалась ему невыносимой.

– Нет, – сказал он, делая вид, что проверяет свои записи.

Он смотрел, как Гарольд жует и явно раздумывает, отступить или продолжить допрос.
– Ты часто видишься с родителями? – спросил его Гарольд внезапно через несколько дней.

– Они умерли, – ответил он, не отрывая глаз от страницы.

– Очень сочувствую тебе, Джуд, – сказал Гарольд, помолчав, – так искренне, что он поднял глаза. – Мои тоже. Относительно недавно. Конечно, я намного старше тебя.

– Мне очень жаль, Гарольд, – сказал он. И добавил наугад: – Ты был с ними близок.

– Да, очень. А ты? Ты был близок со своими?

Он покачал головой:

– Нет, не очень.

Гарольд помолчал.

– Но я уверен, они гордились тобой, – сказал он наконец.

Когда Гарольд задавал вопросы такого рода, он весь холодел, будто его замораживали изнутри, все органы и нервы покрывались защитной ледяной оболочкой. В этот момент ему показалось, что если он ответит, то просто сломается: лед хрустнет, пройдет трещина, он расколется пополам. Поэтому он подождал, пока не уверился, что голос его прозвучит нормально, и только потом спросил Гарольда, нужно ли ему сегодня найти все статьи или можно сделать это завтра утром. Однако он не смотрел на Гарольда, а говорил как будто со своим блокнотом.

Гарольд долго ничего не отвечал.

– Можно завтра, – негромко сказал Гарольд, и он кивнул, собрал вещи, чтобы уйти домой, и чувствовал, как Гарольд провожает его взглядом до самой двери.

Гарольд хотел знать, где он вырос, есть ли у него братья и сестры, с кем он дружит и как проводит время с друзьями. Гарольд жаждал информации. Он мог ответить по крайней мере на последние два вопроса и рассказал ему про своих друзей, как они познакомились, где они сейчас: Малкольм в магистратуре в Колумбийском университете, Джей-Би и Виллем в Йеле. Ему нравилось отвечать на вопросы о них, нравилось о них говорить, нравилось, что Гарольд смеется над его рассказами. Он рассказывал и о Си-Эм, и о том, как Сантош и Федерико воюют со студентами с инженерного факультета, живущими в доме по соседству, который принадлежит братству Массачусетского технологического института, и как, проснувшись однажды утром, он обнаружил за окном целый флот дирижаблей из презервативов с приделанными моторчиками: они шумно поднимались мимо его окна к четвертому этажу, и с каждого свисала табличка: «У САНТОША ДЖАЙНА И ФЕДЕРИКО ДЕ ЛУКИ МИКРОПЕНИСЫ».

Но когда Гарольд задавал другие вопросы, он задыхался от их тяжести, частоты и неизбежности. А иногда воздух так накалялся от вопросов, которые Гарольд не задавал, что уж лучше бы он их задал. Людям так много надо знать, им нужно так много ответов. Он понимал это, ей-богу, – ему тоже нужны были ответы, ему тоже хотелось все знать. Он был благодарен своим друзьям за то, что они вытянули из него сравнительно немного сведений, и за то, что оставляли его наедине с собой, в пустых, безликих прериях, где под желтой поверхностью черви и жуки сновали в черной земле и медленно каменели осколки костей.

– Как тебя это интересует, – огрызнулся он однажды от отчаяния, когда Гарольд спросил его, встречается ли он с кем-нибудь, и сразу же, ужаснувшись собственному тону, извинился. К тому времени они были знакомы уже почти год.

– Это? – переспросил Гарольд, игнорируя извинение. – Меня интересуешь ты. И я не вижу в этом ничего странного. Друзья говорят о таких вещах.

И все же, несмотря на дискомфорт, он возвращался к Гарольду, принимал его приглашения на ужин, хотя в любом их разговоре наступал момент, когда он мечтал исчезнуть или начинал беспокоиться, что Гарольд разочаруется в нем.

Однажды за ужином его представили лучшему другу Гарольда, Лоренсу, с которым Гарольд познакомился еще в студенчестве и который теперь работал судьей апелляционного суда в Бостоне, и его жене Джиллиан, преподававшей литературу в Симмонс-колледже.

– Джуд, – сказал Лоренс, чей голос был еще ниже, чем у Гарольда, – Гарольд говорит, ты учишься на магистра в Массачусетском технологическом. По какой специальности?

– Чистая математика, – ответил он.

– А чем она отличается от обычной? – со смехом спросила Джиллиан.

– Ну, обычная, или прикладная, математика – это то, что можно назвать практической математикой, – ответил он. – Она используется для решения определенных задач в экономике, бухгалтерии, инженерии и так далее. Но чистая математика существует не для того, чтобы приносить немедленную, очевидную практическую пользу. Это чистое выражение формы, если угодно; единственное, что она доказывает, – так это почти бесконечную гибкость самой математики, в рамках тех предположений, которыми мы ее определяем, конечно.

– Ты имеешь в виду что-то вроде воображаемых геометрий? – спросил Лоренс.

– И это тоже. Но не только. Часто речь идет о доказательстве невозможной, но последовательной внутренней логики самой математики. Внутри чистой математики есть разные специализации: геометрическая чистая математика, как вы сказали, но и алгебраическая, и алгоритмическая математика, и криптография, и теория информации, и чистая логика, которую я как раз изучаю.

– А это что? – спросил Лоренс.

Он задумался.

– Математическая логика, или чистая логика, – это, в сущности, диалог между истинным и ложным. Например, я могу сказать вам: «Все положительные числа являются действительными. Два – положительное число. Следовательно, два должно быть действительным числом». Но истинно ли это утверждение? Это математический вывод, предположение об истине. Я не доказал, что два – действительное число, но по логике вещей это должно быть так. Поэтому можно написать доказательство, чтобы доказать, что логика этих двух утверждений – истинная и приложимая к бесконечному набору случаев. – Он остановился. – Это понятно?

– *Video, ergo est*, – сказал Лоренс внезапно. – Я вижу это, следовательно, оно существует.

Он улыбнулся:

– Это как раз в точности прикладная математика. А вот чистая математика – он задумался на мгновение – это, скорее, *imaginor, ergo est*.

Лоренс улыбнулся ему в ответ, кивнул:

– Очень хорошо.

– А теперь у меня вопрос, – заявил Гарольд, который все это время сидел и слушал молча. – Как, скажи на милость, тебя занесло в юридическую школу?

Все засмеялись, он тоже. Ему часто задавали этот вопрос (доктор Ли, например, с возмущением; научный руководитель его магистерской диссертации доктор Кашен – с недоумением), и он всегда отвечал по-разному, в зависимости от того, кто спрашивал, потому что настоящий ответ – хотел научиться себя защищать, хотел быть уверенным, что больше никто никогда не сможет до него добраться – казался слишком эгоистичным, мелким, незначительным, чтобы произносить его вслух (и к тому же вызывал многочисленные новые вопросы). Кроме того, он знал уже достаточно, чтобы понимать: закон – очень хрупкая защита, и, чтобы по-настоящему почувствовать себя в безопасности, нужно становиться снайпером, который щурится в оптический прицел, или химиком в лаборатории, полной пипеток и ядов.

Но в тот вечер он сказал:

– Так ведь закон похож на чистую математику – в теории он тоже может предложить ответ на любой вопрос. Любые законы должны проверяться на прочность и на разрыв, и если они не могут предложить решение любого вопроса, который находится в их компетенции, то они уже не законы, верно?

Он остановился, чтобы обдумать сказанное.

– Пожалуй, разница в том, что в законе есть много путей ко многим ответам, а в математике – много путей к единственному ответу. И еще в том, что закон на самом деле не про истину, а про управление. Но математике не надо быть ни удобной, ни практичной, ни функциональной, только истинной. Однако похожи они еще в том, что в математике и в праве самое главное – или, точнее, самое замечательное – не конкретная задача, не доказательство, не то, удалось ли выиграть дело или найти ответ, но красота и экономность исполнения.

– Что ты имеешь в виду? – спросил Гарольд.

– В юриспруденции, – сказал он, – мы говорим о красивой заключительной речи или о красивой формулировке решения, и говорим мы, конечно, не только о логике, но и о форме. И точно так же в математике, когда мы говорим о красивом доказательстве, мы имеем в виду простоту доказательства, его... естественность, наверное. Его неизбежность.

– А теорема Ферма? – спросила Джулия.

– Это прекрасный пример некрасивого доказательства. Потому что хотя и важно, что эта задача была решена, но многие – например, мой научный руководитель – были разочарованы. Доказательство заняло сотни страниц, соединяло в себе разные разделы математики, оно было такое вымученное, сложенное из кусочков, словно мозаика, что до сих пор многие стараются доказать теорему заново, более элегантно, хотя она уже доказана. А красивое доказательство лаконично, как и красивое судебное решение. Оно соединяет лишь несколько разных концепций, пусть даже из разных частей математической вселенной, но всего несколько цепочек шагов ведет к величественному новому обобщению, новой истине в математике, к доказательному неоспоримому абсолюту в сконструированном мире, где неоспоримых абсолютов очень мало. – Он остановился, чтобы перевести дыхание, осознав вдруг, что все говорит и говорит, а остальные молча наблюдают за ним. Он почувствовал, что краснеет, что застарелая ненависть снова захлестывает его, словно грязная вода. – Простите, – сказал он, – простите. Заболтался. Я нечаянно.

– Ты шутишь? – ответил Лоренс. – Джуд, это первый по-настоящему содержательный разговор, который я слышу в доме Гарольда за последние лет десять, если не больше.

Все снова засмеялись, и Гарольд откинулся на спинку стула: он явно был доволен. Джуд заметил, как он сказал Лоренсу «Видишь?» одними губами, а Лоренс кивнул, и он понял, что это о нем, и был невольно польщен и немного смутился. Неужели Гарольд говорил о нем со своим другом? Может быть, на самом деле это была проверка, о которой он и не подозревал? Какое облегчение, что он прошел ее, не опозорил Гарольда; и еще он чувствовал облегчение от того, что завоевал свое место в этом доме, что его пригласят снова, пусть даже порой ему здесь бывает и неловко.

С каждым днем он все больше доверял Гарольду, но иногда спрашивал себя, не совершает ли снова все ту же ошибку. Что лучше: доверять или вечно быть настороже? Можно ли по-настоящему дружить с человеком, если подспудно всегда ожидаешь предательства? Иногда ему казалось, что он злоупотребляет щедростью Гарольда, его радостной верой в него, а иногда он думал, что настороженность все-таки не лишняя: если что-то пойдет не так, винить можно будет только себя. Но было трудно не доверять Гарольду: Гарольд не облегчал ему этой задачи, и, что еще важнее, сам он тоже хотел доверять Гарольду, хотел ослабить защиту, хотел, чтобы зверек у него внутри заснул и никогда больше не проснулся.

Однажды поздно вечером на втором курсе юридической школы он собирался уходить от Гарольда, но когда они открыли входную дверь, оказалось, что крыльцо, улица, деревья –

все засыпано снегом, и снежные хлопья летели на них с такой силой, что они оба невольно отступили.

– Я вызову такси, – сказал он, чтобы Гарольду не пришлось его отвозить.

– Нет, ты просто переночуешь у нас.

И он остался в гостевой спальне Гарольда и Джулии на втором этаже. От их спальни его отделяла большая комната с окнами, которую они использовали как библиотеку, и короткий коридор.

– Вот тебе футболка, – сказал Гарольд, бросив ему что-то серое и мягкое, – а вот зубная щетка. – Он положил ее на книжный стеллаж. – Чистые полотенца в ванной. Тебе что-нибудь еще нужно? Воды?

– Нет, – сказал он. – Спасибо, Гарольд.

– Не за что. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Он уснул не сразу – устроившись на удобном матрасе под пуховым одеялом, он смотрел, как окно заносит снегом, слушал, как по трубам идет вода, слышал, как негромко переговариваются Гарольд и Джулия, их шаги, потом наступила тишина. В эти минуты он представлял, что они его родители, он приехал домой из колледжа на выходные, это его комната, и завтра они все встанут и будут проводить день так, как проводят день родители с выросшими детьми.

Летом после второго курса Гарольд пригласил его в их дом в Труро, на Кейп-Код. «Тебе понравится, – сказал он. – И позови своих друзей, им тоже понравится». И вот в четверг перед Днем труда, когда и у него, и у Малкольма закончилась практика, они все отправились на машине из Нью-Йорка, и на весь длинный уикенд внимание Гарольда сдвинулось в сторону Джей-Би, Малкольма и Виллема. Он тоже наблюдал за ними, восхищаясь тем, как они умеют парировать каждый выпад Гарольда, как щедро делятся своей жизнью, как умеют рассказать историю о себе и посмеяться над ней, и Гарольд с Джулией смеются тоже; как естественно они общаются с Гарольдом и он с ними. Он испытывал особенное удовольствие, наблюдая, как любимые им люди начинают любить друг друга. На участке была тропинка, которая вела на их собственный кусочек пляжа, и по утрам они вчетвером спускались вниз и плавали – даже он, в брюках, футболке и в старой рубашке с длинными рукавами, и никто к нему не приставал с вопросами, – а потом жарились на солнышке, и одежда, высыхая, отклеивалась от его тела. Иногда Гарольд тоже приходил составить им компанию или поплавать с ними. Ближе к вечеру Малкольм и Джей-Би отправлялись на велосипедную прогулку в дюны, а они с Виллемом шли пешком, поднимая осколки ракушек и печальные пустые панцири давно сгинувших раков-отшельников, и Виллем принаравливался к его шагу. Вечерами, когда воздух становился мягче, Джей-Би и Малкольм рисовали, а они с Виллемом читали. Ему казалось, что он все время пьян – от солнца, еды, соли, покоя и довольства, он рано ложился и быстро засыпал, а утром вставал раньше всех, чтобы в одиночестве постоять на крыльце, глядя на море.

– Что со мной будет? – спрашивал он у моря. – Что со мной?

Каникулы закончились, начался осенний семестр, и вскоре он понял, что в тот уикенд один из его друзей что-то сказал Гарольду, хотя он был уверен, что это был не Виллем, единственный из всех, кому он хоть что-то поведал о своем прошлом – совсем немного, три факта, один пустячней другого, все незначительные, из которых даже начало истории не сложишь. Даже в первых фразах сказки было больше деталей, чем в том, что он рассказал Виллему: жили-были мальчик и девочка в лесной чаще, с отцом-дровосеком и мачехой. Дровосек очень любил своих детей, но был очень беден, и вот однажды... Так что Гарольд мог слышать лишь умозаключения, выведенные из наблюдений, теории, догадки, выдумки.

И все-таки этого оказалось достаточно, чтобы Гарольд прекратил задавать ему вопросы о том, кто он и откуда.

Шли месяцы и годы, и так повелось в их дружбе, что первые пятнадцать лет его жизни оставались нерассказанными, незатронутыми, как будто их и не было вовсе, как будто в колледже его вынули из коробки готовым, нажали кнопку на затылке, и он пробудился к жизни. Он знал, что эти пустые годы Гарольд так или иначе заполнил в своем воображении, и, может быть, что-то из воображаемого было хуже, чем то, что случилось на самом деле, а что-то – лучше. Но Гарольд никогда не рассказывал ему о своих предположениях, да он и не хотел знать.

Он никогда не считал эту дружбу временной, но был готов к тому, что Гарольд и Джулия смотрят на нее именно так. Поэтому, когда он переехал в Вашингтон, получив место референта, он решил, что они забудут его, и старался подготовить себя к потере. Но этого не случилось. Они писали и звонили, а когда кто-то из них приезжал в город, они вместе ужинали. Каждое лето он с друзьями приезжал в Труро, на День благодарения они все отправлялись в Кеймбридж. А когда через два года он переехал в Нью-Йорк работать в федеральной прокуратуре, Гарольд так обрадовался, что ему стало не по себе. Они даже предложили ему поселиться в их нью-йоркской квартире в Верхнем Ист-Сайде, но он знал, что они часто пользуются этой квартирой, и сомневался, что предложение было высказано всерьез, поэтому отказался.

Каждую субботу Гарольд звонил и расспрашивал его про работу, и он рассказывал ему про своего начальника Маршалла, зампрокурора, обладавшего жутковатой способностью декламировать наизусть решения Верховного суда от корки до корки, закрыв глаза и вызвав в памяти страницу; голос его становился механическим, монотонным, но Маршалл никогда не пропускал и не добавлял ни единого слова. Он всегда считал, что у него самого хорошая память, но Маршалл его поражал.

В каком-то смысле офис генерального прокурора напоминал ему приют: почти исключительно мужское царство, неумная постоянная враждебность, желчь, неизбежно вскипающая там, где в тесном пространстве собирается группа соперников, ни в чем не уступающих друг другу, но знающих, что на самый верх поднимутся единицы. (Только здесь они не уступали друг другу в умениях, а там – в голодном ожесточении.) Младшие обвинители – добрых две сотни – все как на подбор окончили какую-нибудь из пяти-шести лучших юридических школ, и все они в этих школах участвовали в учебных судебных процессах и входили в редколлегии студенческих юридических журналов. Он работал в команде из четырех человек, которой поручали в основном дела о мошенничестве с ценными бумагами, и у каждого из них было что-то – какое-то отличие, какой-то козырь, который, как они надеялись, выделяет их среди других: у него была магистерская степень Массачусетского технологического (до нее никому не было дела, но это, по крайней мере, была диковинка) и работа в окружном суде референтом Салливана, с которым Маршалл был дружен. Ситизен, его ближайший приятель на работе, получил юридическую степень в Кембридже и два года, перед тем как переехать в Нью-Йорк, работал барристером в Лондоне. А Родс, третий в их трио, после колледжа отправился в Аргентину по фулбрайтовской стипендии. (Четвертый член команды был неизлечимый лентяй по имени Скотт, который, как поговаривали, получил эту работу только потому, что его отец играл в теннис с президентом.)

Он проводил почти все время в офисе, и иногда, если они с Ситизеном и Родсом засиживались допоздна и заказывали какую-то еду, ему все это напоминало вечера в общежитии. И хотя ему нравилось общаться с Ситизеном и Родсом и он ценил в каждом из них глубину и оригинальность ума, все же в такие минуты он скучал по своим друзьям, которые думали совсем не так, как он, и его заставляли думать по-новому. Разговаривая с Ситизеном и Родсом о логике, он внезапно вспомнил вопрос, заданный ему доктором Ли на первом курсе, когда

его экзаменовали, перед тем как принять в семинар по чистой математике: почему крышки люков круглые? Это был простой вопрос, с простым ответом, но когда он повторил его своим соседям по комнате, воцарилось молчание. А потом Джей-Би начал мечтательным тоном бродячего сказителя: «Давным-давно жили на земле мамонты, и бродили они по земле, и оставляли следы, круглые отпечатки, которые ничем не выровнять...» – и все засмеялись. Он улыбнулся, вспоминая это; иногда ему хотелось думать как Джей-Би, сочинять истории на радость окружающим, а не искать всему и всегда объяснение, которое, даже будучи правильным, оказывалось лишено романтики, фантазии, юмора.

«Надо показать товар лицом», – шептал ему Ситизен, когда появлялся сам федеральный прокурор и все младшие обвинители вились вокруг, как мошकारа, в своих серых костюмах. Они с Родсом присоединялись к этому рою, но на всех этих сборищах он ни разу не воспользовался случаем, хотя мог обратить на себя внимание не только Маршалла, но и федерального прокурора. После того как он получил эту работу, Гарольд попросил его передать привет Адаму, федеральному прокурору, который, как выяснилось, был давним его приятелем. Но он сказал Гарольду, что хотел бы пробиться самостоятельно. Это было правдой, но не всей правдой; ему не хотелось упоминать Гарольда на случай, если тот когда-нибудь пожалеет об их знакомстве. И он ничего не говорил.

Однако часто ему казалось, что Гарольд здесь, с ним. Разговоры о юридической школе (и сопутствующее хвастовство собственными достижениями) были любимым времяпровождением всего офиса, и поскольку многие коллеги учились там же, где он, и знали Гарольда (или были о нем наслышаны), ему нередко приходилось слышать рассказы о лекциях Гарольда или о том, как тщательно приходилось готовиться к его занятиям, и он гордился им и – понимая, что это глупо – гордился собой, тем, что они знакомы. На следующий год выйдет книга Гарольда о Конституции, и все они прочтут в разделе благодарностей его имя и узнают об их знакомстве, и многие станут смотреть на него с подозрением и тревогой, стараясь припомнить, что именно они говорили о Гарольде в его присутствии. Но к тому времени он будет знать, что занял определенное место в офисе собственными силами, стал работать бок о бок с Ситизеном и Родсом, выстроил отношения с Маршаллом.

И как бы ему того ни хотелось, как бы ни мечтал он об этом, он пока не решался назвать Гарольда другом: иногда он боялся, что только вообразил их близость, раздул ее в своем воображении, и тогда (стесняясь сам себя) он доставал с полки «Прекрасное обещание» и читал среди прочих благодарностей слова Гарольда о нем, как будто сами эти слова были договором, декларацией, утверждавшей, что его чувства к Гарольду хотя бы отчасти взаимны. И все-таки он всегда был готов: все может кончиться уже в этом месяце. А потом, когда месяц проходил: в следующем. В следующем месяце он расхочет со мной разговаривать. Он вечно готовился к разочарованию, хотя и надеялся, что его не последует.

И все же их дружба росла и крепла, словно мощная река подхватила его и несла куда-то в неведомые края. Каждый раз, когда ему казалось, что он подошел к границе их отношений, Гарольд и Джулия открывали перед ним следующую дверь и приглашали войти. Он познакомился с отцом Джулии, пульмонологом на пенсии, и с ее братом, профессором-искусствоведом, когда те приехали из Англии на День благодарения; а когда Гарольд и Джулия бывали в Нью-Йорке, они водили их с Виллемом ужинать в рестораны, о которых они только слышали, но не могли себе позволить там побывать. Джулия с Гарольдом приходили в квартиру на Лиспенард-стрит – Джулия вежливо молчала, Гарольд бурно ужасался, – а когда их батареи вдруг таинственно перестали работать, Джулия и Гарольд дали им ключи от своей нью-йоркской квартиры, где было так тепло, что, зайдя внутрь, они с Виллемом целый час просто сидели на диване, как манекены, слишком потрясенные возвращением тепла в их жизнь, чтобы шевелиться. А после того как Гарольд увидел его во время приступа – это было на День благодарения, когда он уже переехал в Нью-Йорк: в отчаянии он выключил плиту, на

которой пассеровал шпинат, заполз в кладовку (понимая, что не сможет подняться наверх), закрыл дверь и улегся на пол, чтобы переждать, – они перепланировали дом, и когда он приехал в следующий раз, то обнаружил, что кабинет Гарольда на первом этаже за гостиной стал гостевой спальней, а письменный стол, стул и книги Гарольда переехали наверх.

Но даже после всего этого какая-то частица его ждала, что в один прекрасный день он подойдет к двери, а дверь окажется заперта. Он даже не очень возражал против этого; было что-то пугающее в том, что ему все позволено, что ему готовы дать все, ничего не требуя взамен. Он тоже пытался дать им все, что мог, но понимал, что этого ничтожно мало. И было такое, чего он не мог дать, а Гарольд давал так легко – ответы, ласку.

Однажды, когда они были знакомы уже почти семь лет, он гостил у них весной. Джулия отмечала день рождения, ей исполнился пятьдесят один год, и она решила устроить большое празднование, поскольку в прошлом году, в свой юбилей, была на конференции в Осло. Они с Гарольдом убрали в гостиной, вернее, он убирал, а Гарольд наугад снимал книги с полок и рассказывал истории о том, как ему досталась каждая из них, или открывал книгу, чтобы посмотреть, не написаны ли внутри имена других людей, пока не дошел до экземпляра «Леопарда», где на титульном листе было наклеено: «Собственность Лоренса В. Рэйли. Не брать. Гарольд Стайн, я к тебе обращаюсь!!!»

Он пригрозил, что расскажет Лоренсу, и Гарольд прорычал:

– Не смей, Джуд, а не то...

– Не то что? – спросил он, дразня Гарольда.

– А не то...

И Гарольд прыгнул в его сторону, и, не успев осознать, что это шутка, он рванулся прочь с такой силой, уклоняясь от контакта, что налетел на книжный шкаф и сбил с полки бугристую керамическую кружку, которую сделал Джейкоб, сын Гарольда, и кружка упала и раскололась на три куска. Гарольд отступил на шаг, и воцарилась внезапная, жуткая тишина, от которой он чуть не разрыдался.

– Гарольд, – сказал он, скрючившись на полу и подбирая осколки, – прости, прости меня. Мне так жаль. – Ему хотелось биться об пол; он знал, что эта кружка – последнее, что слепил Джейкоб для Гарольда, прежде чем заболел. Над собой он слышал дыхание Гарольда. – Гарольд, прости меня, пожалуйста! – повторил он, баюкая осколки в ладонях. – Знаешь, я, наверное, смогу склеить их, поправить... – Он не мог отвести взгляд от кусков кружки, от масляно-блестящей глазури.

Гарольд опустился на пол рядом с ним.

– Джуд, ничего страшного. Ты ведь не нарочно. – Он говорил очень тихо. – Дай мне осколки. – Гарольд бережно взял остатки чашки, но голос его не звучал сердито.

– Я могу уехать, – предложил он.

– Ты, конечно же, никуда не поедешь, – сказал Гарольд. – Джуд, ничего страшного не произошло.

– Но это была кружка Джейкоба, – услышал он собственный голос.

– Да, – сказал Гарольд. – Была и осталась. – Он встал. – Джуд, посмотри на меня. – И он наконец посмотрел. – Все хорошо. Дай мне руку.

Он взял руку Гарольда, и тот помог ему встать на ноги. Ему хотелось завывать: после всего, что Гарольд сделал для него, он отплатил ему тем, что уничтожил самое драгоценное, созданное самым дорогим человеком.

Гарольд поднялся в свой кабинет, неся в руках разбитую кружку, а он закончил уборку в тишине, весенний день померк для него. Когда вернулась Джулия, он ждал, что Гарольд расскажет ей, что он натворил, тупой увалень, но Гарольд ничего не сказал. Вечером за ужином Гарольд вел себя как обычно, но, вернувшись на Лиспенард-стрит, он написал Гарольду настоящее бумажное письмо, с настоящими извинениями, как положено, и послал.

А через несколько дней он получил ответ, тоже настоящее письмо, которое он будет хранить до конца своих дней.

«Дорогой Джуд, – писал Гарольд, – спасибо за твое прекрасное (хоть и излишнее) письмо. Я дорожу каждым словом в нем. Ты прав: эта кружка много для меня значит. Но ты значишь больше. Поэтому, пожалуйста, перестань себя казнить.

Будь я другим человеком, я бы мог сказать, что этот случай – метафора всей жизни. Неизбежно что-то ломается, иногда это можно починить, но в большинстве случаев ты понимаешь: какой бы ущерб ни нанесла тебе жизнь, она перестроится и воздаст тебе за твою потерю, иногда самым чудесным образом.

А может быть, я и есть такой человек и скажу именно так.

С любовью, Гарольд».

Он всего пару лет назад простился со слабенькой, но стойкой надеждой на выздоровление – хоть и знал, что так не бывает, хоть Энди и твердил ему об этом с семнадцати лет. В самые тяжелые дни он словно мантру повторял про себя слова того хирурга из Филадельфии: у позвоночника превосходные способности к восстановлению. Через несколько лет после знакомства с Энди, когда он уже учился на юриста, он наконец набрался храбрости и поделился с ним этим предсказанием, которым так дорожил, за которое так цеплялся, надеясь, что Энди кивнет и скажет: «Совершенно верно. Нужно просто подождать».

Но Энди фыркнул:

– Это он так сказал? Джуд, лучше тебе не станет, с возрастом будет только хуже.

Говоря это, Энди глядел на рану, которая открылась у него на лодыжке, и выковыривал из нее пинцетом кусочки омертвевшей кожи – и вдруг застыл, и он, даже не видя его лица, понял, что Энди корит себя за сказанное.

– Прости, Джуд, – Энди взглянул на него, по-прежнему придерживая его ногу одной рукой. – Прости, что не могу тебя обнадежить.

Он не сумел на это ничего ответить, и Энди вздохнул:

– Ты расстроился.

Конечно же он расстроился.

– Все в порядке, – выдавил он, но так и не нашел в себе сил поглядеть на Энди.

– Прости, Джуд, – тихо повторил Энди.

У Энди манера поведения часто менялась от грубоватой до мягкой, и он часто сталкивался с обеими этими его сторонами, подчас – за один прием.

– Но вот что я тебе обещаю, – сказал Энди и снова занялся его лодыжкой, – на мою помощь ты всегда можешь рассчитывать.

И он не солгал. Можно сказать, что Энди и знал о нем больше всех остальных его друзей: Энди был единственным человеком, перед которым он, уже будучи взрослым, раздевался донага, единственным, кто знал его тело со всех сторон. Когда они встретились, Энди учился в ординатуре, специализацию получал тоже в Бостоне, а затем оба они, с разницей в каких-нибудь несколько месяцев, перебрались в Нью-Йорк. Энди был хирург-ортопед, но его лечил от всего – и от боли в ногах и спине, и от простуды.

– Ну надо же, – сухо заметил Энди как-то раз, когда он отхаркивался у него в кабинете (прошлой весной, как раз перед тем, как ему исполнилось двадцать девять, чуть ли не весь их офис переболел бронхитом). – Как же здорово, что я стал ортопедом. Мне есть где применить мои знания. Я же для этого столько учился.

Он засмеялся было, но тут его снова скрутил кашель, и Энди похлопал его по спине.

– Может, если бы кое-кто порекомендовал мне хорошего терапевта, мне не пришлось бы из-за каждого чиха ходить к костоправу, – сказал он.

– Гмм... – сказал Энди. – Знаешь, может, тебе и вправду стоит найти терапевта. Видит бог, это сэкономит мне кучу времени, да и проблем на мою голову поменьше будет.

Но он так и не нашел себе другого врача и думал, что и Энди – хоть они с ним никогда об этом не заговаривали – этого бы тоже не хотелось.

Несмотря на то что Энди знал о нем порядочно, сам он об Энди не знал почти ничего. Он знал, что Энди учился в одном с ним колледже, что он на десять лет его старше, что его отец гуджаратец, а мать валлийка и что сам он вырос в Огайо. Три года назад Энди женился, и он весьма удивился, получив приглашение на свадьбу, которую отпраздновали в узком кругу, дома у тестя и тещи Энди, в Верхнем Вест-Сайде. Он уговорил Виллема пойти с ним и удивился еще больше, когда Джейн, невеста Энди, узнав, кто он такой, кинулась ему на шею и воскликнула:

– Знаменитый Джуд Сент-Фрэнсис! Я столько о тебе слышала!

– Вот как? – ответил он, страх зашумел у него в голове стайей летучих мышей.

– Ничего такого, – улыбнулась Джейн (она тоже была врачом, гинекологом). – Но он тебя обожает, Джуд. Я так рада, что ты пришел.

Тогда же он познакомился и с родителями Энди, а когда праздник уже подходил к концу, Энди обхватил его рукой за шею и неуклюже, но крепко чмокнул в щеку, и теперь делал так при каждой их встрече. Вид у него при этом был такой, будто ему ужасно неловко, но он твердо намерен придерживаться ритуала, и его это забавляло и трогало.

Он ценил в Энди многое, но превыше всего – невозмутимость. После того как они познакомились, после того как Энди сделал все, чтобы он не увиливал от визитов (когда он пропустил два повторных приема – не забыл о них, просто решил не ходить и не ответил на три телефонных звонка и четыре имейла, – Энди сам заявился в Худ-Холл и принялся колотить в дверь), он свыкся с мыслью, что иметь лечащего врача не так уж и плохо – в конце концов, от этого никуда не деться – и что Энди, пожалуй, можно довериться. Во время их третьей встречи Энди заполнил его историю болезни – все, что он счел возможным рассказать, – и записывал все факты молча, с непроницаемым лицом.

И впрямь, только несколько лет спустя – года четыре тому назад – Энди впервые напрямую упомянул его детство. Случилось это во время их первой крупной ссоры. Конечно, у них и до того бывали и споры, и разногласия, и раз или два в год Энди прочитывал ему длинную нотацию (он приходил к Энди раз в полтора месяца – теперь, правда, чаще – и, если Энди был особенно немногословен, заранее знал, что прием будет сопровождаться Нотацией) о том, как Энди удивляет и удручает его нежелание следить за своим здоровьем, как раздражает его отказ от помощи психотерапевта и что его нелюбовь к обезболивающим вообще ни в какие ворота не лезет, потому что они, скорее всего, здорово облегчили бы ему жизнь.

Поссорились они из-за того, что Энди показалось, будто он хотел покончить с собой. Это случилось прямо перед Новым годом, он тогда резал себя и полоснул слишком близко к вене, и все переросло в какой-то грязный, кровавый бардак, в который ему пришлось втянуть еще и Виллема. Когда они ночью приехали к Энди в смотровую, тот до того разозлился, что даже отказался с ним разговаривать и сердито бурчал что-то себе под нос, пока его зашивал – маленькими, аккуратными стежками, словно трудился над вышивкой.

Когда он пришел к Энди в следующий раз, то сразу понял, что тот в ярости, хоть Энди еще и рта не успел раскрыть. Сначала он вообще думал не приходить на осмотр, но понимал, что Энди будет ему названивать, или, хуже того, будет названивать Виллему, или, еще хуже, – Гарольду и не успокоится, пока он не придет.

– Надо было тебя, на хер, упечь в больницу! – вот с чего начал Энди, и потом добавил: – Какой же я придурок!

– По-моему, ты зря так разволновался, – начал было он, но Энди его и слушать не стал.

– Хорошо хоть я не считаю, что ты пытался покончить с собой, не то ты бы и глазом не успел моргнуть, как оказался в психушке. Это все только потому, что по статистике люди, которые режут себя так часто и в течение такого длительного времени, как ты, менее склонны к суициду, чем те, у кого приступы аутоагрессии случаются эпизодически. – Энди обожал статистику. Иногда он подозревал, что Энди сам ее и выдумывает. – Но, Джуд, это бред какой-то, ты был на волосок от смерти! Так что или ты сам идешь к психотерапевту, или я упрячу тебя в психушку.

– Ничего у тебя не выйдет! – сказал он, и сам распаляясь, хотя и знал, что Энди вполне может исполнить свою угрозу: он уже изучил законы о принудительной психиатрической помощи, которые действовали в штате Нью-Йорк, и они были не в его пользу.

– Выйдет, и ты сам это знаешь! – перешел на крик Энди.

Он всегда приходил после приемных часов, потому что после осмотра, когда у Энди было время и настроение, они частенько болтали.

– Я тебя засужу, – глупо сказал он, и тогда Энди заорал в ответ:

– Давай, вперед! Ты хоть понимаешь, Джуд, какой это пиздец?! Ты понимаешь вообще, в какое положение ты меня ставишь?!

– Не волнуйся, – саркастически ответил он. – Семьи у меня нет. Если я умру, никто не подаст на тебя в суд за врачебную халатность.

Энди отшатнулся, будто его ударили.

– Да как ты смеешь, – медленно произнес он. – Ты же знаешь, я не это имел в виду.

Конечно же он знал. Но сказал только:

– Как скажешь. Я пошел.

Он сполз со стола (хорошо, что Энди сразу кинулся его отчитывать и он не успел раздеться) и хотел было эффектно хлопнуть дверью, но на это и надеяться не стоило, не с его скоростью, поэтому Энди успел его перехватить.

– Джуд, – тут у него снова резко переменялось настроение, – я знаю, ты не хочешь идти к психотерапевту. Но это все уже зашло слишком далеко. – Он глубоко вздохнул. – Ты хоть с кем-нибудь говорил о том, что с тобой случилось в детстве?

– Это тут ни при чем, – сказал он, похолодев.

О том, что он ему рассказал, Энди не упоминал ни разу, и теперь ему показалось, будто тот его предал.

– Еще как связано, черт тебя дери! – воскликнул Энди, и неуклюжая театральность этой фразы – так ведь только в кино разговаривают – вызвала у него невольную улыбку, но Энди, приняв ее за насмешку, снова сменил тон. – Твое упрямство, Джуд, отдает каким-то невероятным высокомерием, – продолжил он. – Едва речь заходит о твоём здоровье и благополучии, как ты и слышать ни о чем не желаешь, вот и выходит – или мы имеем дело с патологическим случаем аутоагрессии, или тебе просто на всех нас насрать.

Его это задело.

– А твои постоянные угрозы посадить меня в психушку, стоит мне с тобой не согласиться, отдают каким-то невероятным манипуляторством, особенно сейчас, когда я тебе сказал, что это просто глупая случайность, – огрызнулся он в ответ. – Энди, я очень тебя ценю, правда. Я не знаю, что я бы без тебя делал. Но я взрослый человек, и ты не можешь мне указывать, что мне можно, а что нельзя.

– Тогда знаешь что, Джуд? – снова закричал Энди. – Ты прав. Я не могу ничего за тебя решать. Но и соглашаться с твоими решениями я тоже не обязан. Пусть теперь какой-нибудь другой придурок тебя лечит. Я этого больше делать не собираюсь.

– Ну и прекрасно, – бросил он и ушел.

Он и не помнил, когда ему в последний раз было так за себя обидно. Конечно, его многое задевало: и повсеместная несправедливость, и непрофессионализм, и что режиссеры

никак не давали Виллему хорошую роль, но он редко обижался на то, что происходило или когда-то произошло с ним, на свою боль, на прошлое и на настоящее – на этих вещах он старался не заикливаться, не тратить время на поиск ответов. Он и так знал, почему это все с ним случилось: это все с ним случилось потому, что он все это заслужил.

Но, с другой стороны, он понимал, что зря обижается. Зависимость от Энди его, конечно, злила, но в то же время он был ему благодарен и понимал, что Энди его поведение кажется нелогичным. Но такая у Энди была работа – улучшать людей: Энди смотрел на него, как сам он смотрел на запутанное налоговое законодательство, как на что-то, что нужно распутать и починить, а уж считает ли он сам, что его можно починить, или нет – дело десятое. Но исправлений, о которых он мечтал, – избавиться от шрамов, проступавших на спине жутким, неестественным рельефом, от стянутой кожи, тугой и блестящей как у жареной утки, – исправлений, на которые он и копил деньги, Энди бы точно не одобрил. «Джуд, – сказал бы Энди, если б узнал о его планах, – вот честное слово, это тебе не поможет, ты только деньги зря потратишь. Не делай этого». – «Но они же омерзительные», – промямлит он тогда. «Нет, Джуд, – ответит Энди, – честное слово, вовсе нет».

(Впрочем, он не собирался ничего рассказывать Энди, так что не будет и этого разговора.)

Шли дни, он не звонил Энди, и Энди не звонил ему. Словно желая его наказать, запястье по ночам саднило и не давало уснуть, а на работе он однажды забылся и за чтением принялся ритмично постукивать рукой по краю стола – застарелый тик, от которого он так не сумел полностью избавиться. Из швов потекла кровь, и он кое-как промыл их в ванной под краном.

– Что стряслось? – как-то вечером спросил его Виллем.

– Ничего, – ответил он.

Конечно, он мог обо всем рассказать Виллему, который бы выслушал его и очень повиллемовски протянул бы: «Гммм...», – но он знал, что Виллем встанет на сторону Энди.

Через неделю после той ссоры он вернулся домой, на Лиспенард-стрит, – было воскресенье, он шел с прогулки по западному Челси – и застал Энди на ступеньках под дверью.

Он удивился.

– Привет, – сказал он.

– Привет, – ответил Энди. Они так и стояли под дверью. – Я не знал, возьмешь ли ты трубку, если я позвоню.

– Конечно взял бы.

– Слушай, – сказал Энди. – Прости меня.

– И ты меня. Прости, Энди.

– Но я правда думаю, что тебе нужно к кому-нибудь обратиться.

– Я тебе верю.

И каким-то образом они сумели на этом и остановиться – на ненадежном и взаимно неудовлетворительном перемирии, и вопрос о психотерапии застыл между ними бескрайней серой демилитаризованной зоной. Компромисс (хотя как они до него договорились, он теперь и сам не очень понимал) заключался в том, что в конце каждого приема он показывал Энди руки, а Энди проверял, нет ли на них свежих порезов. Каждый свежий порез он заносил в историю болезни. Он никогда не знал, из-за чего Энди может вспылить – иногда новых порезов много, а Энди только вздохнет тяжело, их записывая, а иногда порезов всего ничего, а Энди все равно заведется. «Ты себе все руки, на хер, испортил, ты это хоть понимаешь?» – спрашивал он тогда. Но он молчал и пропускал все нотации Энди мимо ушей. Отчасти он понимал, что мешая Энди делать свою работу, которая все-таки и заключалась в том, чтобы его лечить, он проявляет к нему неуважение и даже, можно сказать, издевается над ним на его же территории. Все эти подсчеты (иногда ему хотелось спросить, получит ли

Энди подарок, если соберет определенное число, но он знал, что тот обидится) позволяли Энди хотя бы притвориться, будто он контролирует ситуацию, даже если на самом деле это было не так, – сбор данных как небольшая компенсация за отсутствие настоящего лечения.

А потом, два года спустя, у него открылась другая рана, на левой ноге, с которой всегда было больше хлопот, чем с правой, и от порезов Энди перешел к более насущным проблемам с ногой. Первая рана открылась, когда после травмы не прошло еще и года, и тогда она быстро зажила. «Но этим дело не кончится, – предупредил его хирург в филладельфийской больнице, – от этой травмы серьезно пострадали все системы – и покровная, и сосудистая, – поэтому время от времени раны на ногах будут открываться».

Эта стала одиннадцатой по счету, все ощущения были знакомыми, но причину он никогда не мог угадать (укус насекомого? Задел за уголок металлического ящика с документами? Всякий раз это была какая-нибудь крошечная колючая штучка, которая, однако, с легкостью пропарывала ему кожу, будто это и не кожа вовсе, а лист бумаги) и никогда не мог справиться с отвращением: гной, нарывный, рыбный запах, тонкая прореха на коже, будто рот эмбриона, который потом будет пускать пузыри вязкой непонятной жидкости. Это было противостоестественно: когда он расхаживал с дырой на ноге, которую нельзя было заткнуть, то словно оказывался в фильме ужасов или в страшной сказке. Теперь он ходил к Энди каждую пятницу, по вечерам, и пока тот чистил рану, промывал ее, удалял кусочки мертвой ткани и изучал кожу вокруг, чтобы проверить, как рана заживает, он, затаив дыхание, цеплялся за края стола и изо всех сил старался не кричать.

– Джуд, ты обязательно говори, если будет больно, – сказал Энди, пока он пытался, потел и считал про себя. – Если ты чувствуешь боль, это хорошо, а не плохо. Это значит, что нервы не отмерли и делают свою работу.

– Больно, – наконец выдавил он.

– По шкале от одного до десяти?

– Семь. Восемь.

– Прости, – ответил Энди. – Еще немного, честное слово. Еще пять минут.

Он зажмурился и стал считать до трехсот, заставляя себя не торопиться.

Потом Энди садился с ним рядом и давал ему попить: газировку, что-нибудь сладкое, и тогда из окружавшей его мути пятно за пятном начинала проступать комната.

– Помедленнее, – приговаривал Энди, – а то стошнит.

Он наблюдал, как Энди перебинтовывает рану – спокойнее всего Энди был, когда кого-нибудь штопал, зашивал или перебинтовывал, – и в такие минуты всякий раз чувствовал себя настолько слабым и уязвимым, что, предложи ему тогда Энди что угодно, он бы на все согласился.

– На ногах ты себя резать не будешь, – даже не спрашивал, а скорее приказывал Энди.

– Не буду.

– Это будет уже совсем за гранью, даже в твоем случае.

– Я знаю.

– У тебя все тело уже истерзано, схлопочешь серьезное заражение.

– Энди. Я знаю.

Иногда ему казалось, что Энди тайком переговорил с его друзьями и поэтому теперь у них в речи то и дело всплывали эндиобразные слова и выражения, и, хоть с Того Случая, как выражался Энди, прошло уже четыре года, он подозревал, что Виллем по-прежнему каждое утро перетряхивает мусор в ванной, и теперь предусмотрительно обматывал лезвия салфетками и клейкой лентой и выбрасывал в мусорный бак по дороге на работу. «Твоя банда», так их звал Энди. «Ну, что у вас там с бандой новенького?» (это если он был в хорошем настроении) и «И пусть эта твоя банда сраная за тобой получше приглядывает, я им так и скажу» (когда был в плохом).

– Даже не думай, Энди, – говорил он. – И вообще, они за меня не в ответе.

– Еще как в ответе, – огрызался Энди.

И тут они с ним никак не могли договориться.

Но с тех пор, как у него открылась эта новая рана, прошел уже год и восемь месяцев, а она так и не зажила. Точнее, сначала зажила, потом вновь открылась, потом снова зажила, а потом он как-то проснулся в пятницу, почувствовал на ноге что-то мокрое и липкое – снизу, на голени – и понял, что кожа лопнула снова. Энди он пока не звонил – позвонит в понедельник, – важнее всего было пройти, ведь он боялся, что прогулок у него теперь не будет несколько недель, а то и месяцев.

Он был на углу Мэдисон и Семьдесят пятой, почти возле приемной Энди, и нога болела так, что он перешел на Пятую и уселся на скамейку у стены, окружавшей парк. Едва он уселся, как навалилась знакомая слабость, тошнота, от которой запрыгал желудок, и он, скорчившись, ждал, когда бетон под ногами вернется на место и можно будет встать. В такие минуты он чувствовал, что тело ему изменяет, что сильнее всего ему в жизни мешало именно это банальное нежелание признать, что тело предаст его снова и снова, что на него нельзя надеяться, но при этом нужно продолжать за ним ухаживать. Сколько времени и он, и Энди потратили впустую, пытаясь восстановить то, что восстановлению не подлежит, когда эти обугленные обломки давным-давно должны валяться в отвальной куче. А все ради чего? Наверное, думал он, ради его ума. Но это, как сказал бы Энди, отдавало невероятным высокомерием, все равно что чинить старый драндулет, потому что испытываешь нежность к магнитоле.

Если я пройду всего пару кварталов, думал он, то окажусь возле его приемной, только его там не будет. Сегодня воскресенье. Энди заслужил хоть какую-то передышку, да и потом, не то чтобы сегодня у него все как-то по-другому болело.

Он подождал еще пару минут, потом с усилием встал, постоял с полминуты и рухнул обратно на лавку. Через какое-то время ему наконец удалось окончательно встать на ноги. Идти он пока не мог, но думал, что, пожалуй, сумеет дойти до края тротуара, вскинуть руку и сесть в такси, привалиться головой к черному виниловому подголовнику. Он будет идти и считать шаги и потом посчитает каждый шаг – от такси и до парадного, от лифта до квартиры, от двери до спальни. Когда он учился ходить в третий раз – после того как сняли скобы, – Энди давал указания его физиотерапевту (она была не в восторге, но к советам прислушалась), и это Энди, как и Ана четыремя годами ранее, смотрел, как он без посторонней помощи одолевает сначала расстояние в десять футов, затем – в двадцать, а уж потом – и в пятьдесят, и в сотню. Даже походку его – правую ногу он подволакивал, а левую поднимал почти под прямым углом к земле, выходил этакий прямоугольник негативного пространства – разработал Энди, который часами заставлял его тренироваться, пока не научил так ходить. Это Энди уверил его, что он может передвигаться без трости, и только благодаря Энди у него это и получалось.

До понедельника остались считанные часы, твердил он себе, пытаясь встать, и Энди примет его, как и обычно, даже если будет сильно загружен. «Когда ты заметил, что кожа лопнула?» – спросит Энди, осторожно нажимая на нее кусочком ваты. «В пятницу», – ответит он. «Так чего ж ты мне сразу не позвонил, Джуд? – сердито скажет Энди. – Надеюсь, ты хоть на свою идиотскую прогулку не ходил?» – «Нет, конечно нет», – ответит он, но Энди ему не поверит.

Иногда он думал, не воспринимает ли его Энди исключительно как набор вирусов и увечий: а если их вынести за скобки, кем бы он тогда был? Если бы Энди не пришлось его лечить, был бы он ему интересен? Если бы в один прекрасный день он волшебным образом исцелился, зашагал бы легко, как Виллем, обрел бы самоуверенность Джей-Би и наклонялся бы, не беспокоясь, что рубашка вылезла из-за пояса, или обзавелся бы изящными руками

Малкольма с глазурно-гладкой кожей на предплечьях, кем бы он тогда стал для Энди? Кем бы он тогда стал для них всех? Стали бы они его меньше любить? Или больше? Или он обнаружил бы, что его давние страхи подтвердились, что их дружба держалась только на жалости к нему? Какая часть его личности состояла из того, что ему было не под силу? Кем бы он был, кем бы он мог быть без шрамов, порезов, болячек, язв, переломов, заражений, лонгетов и выписок?

Но этого он, разумеется, никогда не узнает. Полгода назад им удалось совладать с раной, Энди долго ее осматривал, все проверял и перепроверял и наконец выдал ему целый список того, что нужно делать, если она снова откроется.

Он слушал вполуха. Отчего-то в тот день у него было легко на душе, но Энди все ворчал и ворчал, а потом еще и начал читать ему нотации – не только насчет ноги, ему еще и о порезах лекцию пришлось выслушать (слишком их много, считал Энди) и о своем внешнем виде (слишком он худой).

Он любовался своей ногой, вертел ею, разглядывал кожу, на которой наконец-то затянулась рана, а Энди все говорил и говорил и наконец не выдержал:

– Джуд, ты меня слушаешь?

– Неплохо выглядит. – Он не отвечал на вопрос, ему хотелось, чтоб Энди его успокоил. – Правда?

Энди вздохнул:

– Выглядит...

Тут Энди осекся и замолчал, и он поднял голову и увидел, как Энди зажмурился, будто старался взять себя в руки, потом снова открыл глаза.

– Выглядит неплохо, Джуд, – тихо сказал он. – Правда.

Он тогда ощутил огромный прилив благодарности, потому что понимал – вовсе Энди не думал, что нога выглядит неплохо, и никогда он такого не подумает. Для Энди его тело было генератором ужасов, и против одного этого тела они вдвоем должны были держать постоянную оборону. Конечно, Энди думал, будто он заблуждается, или сам себе только хуже делает, или вообще не хочет мириться с действительностью.

Не понимал Энди только одного – что он оптимист. Из месяца в месяц, из недели в неделю он всякий раз делал один и тот же выбор: открыть глаза, прожить в этом мире еще один день. Этот выбор он делал, даже когда ему было так плохо, что казалось, будто боль переносит его в другое измерение, где все, даже прошлое, которое он всеми силами старался позабыть, сливалось в одну водянистую акварельную серость. Он делал этот выбор, когда воспоминания вытесняли все прочие мысли, когда нужно было изо всех сил постараться, изо всех сил сосредоточиться, чтобы не оторваться от нынешней жизни, не захлебнуться стыдом и отчаянием. Он делал этот выбор, когда стараться больше не было никаких сил, когда вся энергия уходила на то, чтобы бодрствовать и существовать, и тогда он лежал в кровати и искал причины, чтобы встать и сделать еще одну попытку, ведь куда легче просто пойти в ванную, заглянуть в тайник под раковиной, оторвать приклеенный скотчем целлофановый пакетик, где лежат ватные диски, сменные лезвия, спиртовые салфетки и бинты, и просто-напросто сдаться. То были очень плохие дни.

Тогда, в новогоднюю ночь, он и вправду ошибся, когда резал руку, сидя в ванной: его клонило в сон, а обычно он был очень внимателен. Но едва он понял, что натворил, как минуту, две минуты – он посчитал – он искренне не знал, как поступить, потому что остаться в ванной и довести этот несчастный случай до логического конца казалось проще, чем решать что-то самому, потому что это решение коснется не только его, но и Виллема с Энди и выльется в целые дни, в месяцы последствий.

Он так и не понял, почему все-таки схватил с сушилки полотенце, обмотал им руку, кое-как встал на ноги и разбудил Виллема. Но после этого он с каждой минутой отдалялся от

другого варианта, и все происходило так быстро, что он перестал что-либо контролировать, и ему хотелось только вернуться в тот год после травмы, когда они с Энди еще не были знакомы, когда казалось, что все еще наладится, что он, будущий, может стать кем-то ярким и чистым, когда он знал мало, и надеялся на многое, и верил, что когда-нибудь его надежды сбудутся.

До Нью-Йорка была юридическая школа, а до нее – колледж, а до колледжа – Филадельфия и долгий медленный путь через всю страну, а до этого – Монтана и приют для мальчиков, а до Монтаны был Юго-Запад и номера в мотелях, безлюдные дороги и долгие часы в машине. А до этого – Южная Дакота и монастырь. А до этого? Отец и мать, наверное. Или, вернее, просто мужчина и женщина. А потом, скорее всего, одна женщина. А потом – он.

Математике его учил брат Петр, и он же вечно напоминал о том, как ему повезло, рассказывал, как его нашли в мусорном баке. «В мешке для мусора, набитом яичной скорлупой, и увядшим салатом, и прогорклыми спагетти – лежал еще и ты, – говорил брат Петр. – В закоулке, который за аптекой, ну ты знаешь где», – хоть он и не знал, потому что редко выходил за пределы монастыря.

Потом брат Михаил сказал, что даже и это неправда. «Не в баке, – сказал он ему. – Ты лежал возле бака». Да, подтверждал брат Михаил, там был мешок для мусора, но он лежал на мешке, а не внутри, да и вообще, кто мог знать, что в этом мешке было, кому до этого было дело? Скорее всего, там лежали аптечные отходы: картонки, салфетки, провололочные фиксаторы и упаковочный наполнитель. «Не верь всему, что говорит брат Петр, – частенько повторял брат Михаил и добавлял: – Нельзя потакать этой твоей склонности к мифотворчеству, – всякий раз, когда он пытался разузнать хоть что-то о том, как он попал в монастырь. – Ты у нас появился, и теперь ты здесь, и тебе надлежит думать о будущем, а не о прошлом».

Они создали для него это прошлое. Когда его нашли, он был совсем голый, говорил брат Петр (или в одном подгузнике, говорил брат Михаил), но, как бы там ни было, а его, как они выражались, бросили на милость природы, потому что тогда, в середине апреля, еще подмораживало и в такую погоду новорожденный долго бы не протянул. Но он, похоже, пролежал там всего несколько минут, потому что, когда его нашли, он еще даже не успел замерзнуть, а следы автомобильных шин и кроссовок (скорее всего, женских, восьмого размера), которые вели к баку и от него, еще не успело занести снегом. Ему повезло, что они его нашли (судьбе было угодно, чтобы они его нашли). Всем, что у него было – именем, датой рождения (довольно приблизительной), кровом, самой жизнью, – он был обязан им. Ему нужно быть благодарным (благодарить нужно не их, благодарить нужно Бога).

Никогда нельзя было угадать, на какие его вопросы они ответят, а на какие – нет. Самые простые (плакал ли он, когда его нашли? А записка была? Пробовали ли они разыскать тех, кто его бросил?) оставались без ответа, от них отмахивались, отговаривались незнанием и при этом подробно отвечали на вопросы куда более сложные.

«Штат не сумел найти для тебя приемную семью. (Снова брат Петр.) Тогда мы сказали, что готовы тебя приютить на какое-то время, и так прошли месяцы, потом годы, и вот – ты здесь. Конец. А теперь дорешай-ка уравнения, целый день над ними сидишь».

Но почему штат не сумел никого найти? Теория номер один (излюбленная теория брата Петра): слишком много неизвестных факторов – национальность, родители, наследственные заболевания и т. д. Откуда он взялся? Этого никто не знал. Похожего на него новорожденного не регистрировали ни в одной местной больнице. Потенциальных усыновителей все это настораживало. Теория номер два (брата Михаила): они жили в нищем городе, в нищей части нищего штата. Одно дело жалеть найденыша (а его многие жалели, пусть он об этом не забывает) и совсем другое – взять еще одного ребенка, когда семья и так уже еле концы с

концами сводит. Теория номер три (отца Гавриила): ему было предназначено остаться здесь. Такова была воля Божья. Тут его дом. И хватит уже вопросов.

Была еще четвертая теория, о которой все вспоминали, стоило ему в чем-нибудь провиниться: он плохой, плохим и родился. «Ты, наверное, что-нибудь очень плохое совершил, что тебя вот так вот бросили, – сказал брат Петр, избивая его доской, пока он, рыдая, просил прощения. – Может, ты все время плакал и они просто не могли тебя больше выносить». И тогда он плакал еще громче, боясь, что брат Петр прав.

Они интересовались историей, но его интерес к собственной истории их всех раздражал, как будто он нашел себе какое-то утомительное хобби и все никак не мог его перерасти. Вскоре он научился не задавать вопросов, ну или, по крайней мере, прямых вопросов, но жадно ловил обрывки сведений, которые получал в самые неожиданные моменты из самых неожиданных источников. Когда они с братом Михаилом читали «Большие надежды», он ухитрился свернуть разговор на долгие рассуждения о жизни сирот в Лондоне девятнадцатого века, столь же экзотическом для него городе, как и Пирр в какой-нибудь сотне миль от монастыря. Он понимал, что урок постепенно превратится в нравоучение, но все-таки сумел вывести, что его, как и Пипа, отдали бы родственникам, если бы их удалось разыскать. Значит, родственников у него не было. У него не было никого.

Отучали его и от другой дурной привычки – собственничества. Он и не помнил уже, когда у него появилось страстное желание иметь что-то свое, что-то, что будет только его и ничье больше. «Тут ни у кого нет ничего своего», – говорили ему, но так ли это было на самом деле? Он знал, что у брата Петра был черепаховый гребень цвета свежесцеженного древесного сока и такой же прозрачный, которым тот очень гордился и каждое утро расчесывал усы. Однажды гребень пропал, и брат Петр ворвался на его урок с братом Матфеем, тряс его за плечи, кричал, чтобы он вернул гребень, если ему жить не надоело. (Потом отец Гавриил нашел гребень, он завалился в щель между столом брата Петра и батареей.) А у брата Матфея было первое издание «Бостонцев» в цельнотканевом переплете с мягкой, потертой зеленой спинкой, которое он ему однажды показал, дал поглядеть на обложку. («Не трогай! Кому сказал, не трогай!») Даже у брата Луки, его самого любимого брата, который редко с ним заговаривал и никогда его не ругал, была птица – по крайней мере, все считали, что это его птица. Строго говоря, сказал брат Давид, птица ничья, но это брат Лука нашел ее, выходил и выкормил, и к нему она подлетала, поэтому раз Лука так хочет, пусть это будет его птица.

Брат Лука заведовал теплицами и монастырским садом, и летом он ему помогал, выполняя разные мелкие поручения. Подслушивая разговоры других братьев, он узнал, что брат Лука был очень богат, до того как поселился в монастыре. Но потом что-то случилось или он что-то сделал (этого ему так и не удалось понять), и он то ли потерял все деньги, то ли от них отказался и вот теперь жил здесь, такой же нищий, как и все. Впрочем, теплица была построена на деньги брата Луки, и он же оплачивал кое-какие монастырские текущие расходы. Он видел, что другие братья заметно сторонились Луки, и думал даже, что это, верно, потому, что он плохой, хотя брат Лука никогда не вел себя плохо, с ним – никогда.

Первую кражу он совершил как раз после того, как брат Петр обвинил его в похищении гребня: украл пачку крекеров с кухни. Как-то утром он шел через кухню в комнату, которую отвели под занятия с ним, и в кухне никого не было, и пачка лежала прямо на кухонной стойке, только руку протяни, и он машинально схватил ее, затолкал под грубую шерстяную робу – такую же, как у братьев, только маленькую – и убежал. Ему пришлось забежать к себе обратно, чтобы спрятать крекеры под подушку, поэтому на занятие к брату Матфею он опоздал, и в наказание брат Матфей отхлестал его веткой форзиции, но ему делалось тепло и радостно при одной мысли о том, что теперь у него есть крекеры. Той же ночью, лежа в кровати, он съел один крекер (на самом деле он их даже не очень-то и любил): аккуратно

разгрыз его на восемь кусочков, а затем каждый кусочек клал на язык, чтоб тот размяк, стал вязким и он смог проглотить его целиком.

После этого он начал воровать. На самом деле ему и не было нужно ничего монастырского, там не было ничего ценного, поэтому он просто брал все, что попадалось под руку, без особого умысла или желания: если получалось – еду; звонкую черную пуговицу, которую нашел на полу в комнате у брата Михаила, когда по своему обыкновению слонялся по монастырю после завтрака; авторучку отца Гавриила – он схватил ее со стола посреди урока, когда отец Гавриил отвернулся, чтобы найти какую-то книгу; гребень брата Петра (эту кражу он спланировал, но удовольствия от нее было не больше, чем от других). Он воровал спички, карандаши и обрывки бумаги – бесполезный мусор, но мусор, который все-таки кому-то принадлежал, – засовывал их под белье, мчался к себе в комнату и прятал под матрасом, таким тонким, что по ночам он спиной чувствовал в нем каждую пружинку.

– А ну прекрати эту беготню, не то выпорю! – то и дело кричал ему брат Матфей, когда он несся к себе в комнату.

– Да, брат, – отвечал он и замедлял шаг.

Попался он в тот же день, когда украл самый ценный трофей: серебряную зажигалку отца Гавриила. Он стащил ее прямо у него со стола, когда тот прервал свои нравоучения, чтобы ответить на телефонный звонок. Едва отец Гавриил склонился над клавиатурой, как он схватил холодную тяжелую зажигалку со стола и сжимал ее в кулаке до тех пор, пока его наконец не отпустили. Выйдя из кабинета отца Гавриила, он поспешно засунул зажигалку под майку и заторопился к себе в комнату, но, завернув за угол, врезался в брата Павла. Чтобы брат не начал на него кричать, он поспешно отскочил, и зажигалка вывалилась, запрыгала по каменным плитам.

Разумеется, его избили, на него накричали, и после всего этого отец Гавриил в качестве последнего (как он думал) наказания вызвал его к себе в кабинет и сказал, что преподаст ему урок, чтоб неповадно было красть чужое. Он смотрел, ничего не понимая, но перепугавшись так, что не мог даже плакать, как отец Гавриил сначала смочил платок оливковым маслом, а затем втер масло в тыльную сторону его левой руки. А потом отец Гавриил взял зажигалку – ту самую, украденную – и держал его руку над пламенем до тех пор, пока не занялось масляное пятно на коже, и всю ладонь разом охватило призрачным, белым жаром. Он кричал, кричал, и тогда отец ударил его по лицу, чтоб перестал кричать. «Хватит орать! – проорал он. – Ты это заслужил. Теперь на всю жизнь запомнишь, что воровать нельзя».

Очнулся он у себя в кровати, с перебинтованной рукой. Все его вещи исчезли, и не только украденные, исчезло все, что он сам отыскал: камешки, перья, наконечники стрел и окаменелость, которую ему подарил брат Лука, когда ему исполнилось пять, его самый первый подарок.

После этого, после того, как он попался, он должен был каждый вечер приходить в кабинет отца Гавриила и раздеваться, чтобы отец мог проверить, не припрятано ли у него чего внутри. Потом, когда все стало еще хуже, он все думал о той пачке крекеров: если бы только он их тогда не украл. Если бы только он сам все не испортил.

Припадки начались у него после вечерних осмотров отца Гавриила, к которым скоро добавились и дневные – с братом Петром. Он бился в истерике, колотился о каменные стены монастыря, кричал что было мочи, молотил больной изуродованной рукой (которая и спустя полгода еще иногда побаливала, боль неотступно пульсировала где-то внутри) о грубые острые углы деревянных столов, бился затылком, локтями, щеками – самыми болезненными, самыми нежными частями тела – о край парты. Припадки случались у него и днем и ночью, он их не контролировал, они наползали на него туманом, и он проваливался в них, его тело и голос начинали вытворять что-то одновременно и волнующее, и мерзкое, и хоть потом у него все болело, он знал, что братья его боятся, боятся его злости, его криков, его силы. Они

били его всем, что попадет под руку, они повесили в классной комнате на гвоздь ремень, они снимали сандалии и били его так долго, что на следующий день он даже сесть не мог, они называли его уродом, они желали ему смерти, они говорили, что нужно было его бросить в мусорной куче. И за это тоже он был им благодарен, за то, что помогали ему себя изматывать, потому что один он не мог заарканить этого зверя и нуждался в их помощи, чтобы его отогнать, чтобы тот, пятясь, уполз обратно в клетку до тех пор, пока снова не вырвется на свободу.

Он стал мочиться в постель, и его заставили чаще ходить к отцу Гавриилу, чтобы тот его чаще осматривал, и чем чаще отец его осматривал, тем чаще он мочился в постель. Тогда отец стал приходить к нему по ночам, и брат Петр стал приходить к нему по ночам, а потом и брат Матфей, и все стало еще хуже: его заставляли спать в мокрой ночной рубашке, его заставляли носить ее днем. Он знал, что от него жутко воняло, мочой и кровью, и он кричал, бесновался, выл, срывал уроки, спихивал со столов книги, чтобы братья начали его избивать и прервали занятия. Иногда от сильного удара он терял сознание и вскоре только этого и жаждал, этой темноты, где время шло и где его не было, где с ним что-то делали, но он об этом не знал.

Иногда у его припадков были причины, хотя, кроме него, никто этих причин не знал. Он беспрестанно чувствовал себя грязным, замаранным, словно он гнил изнутри, как старое здание, как обветшавшая церковь, которую ему показали в один из его редких выездов за пределы монастыря: балки испещрены плесенью, стропила рассохлись и насквозь проедены термитами, сквозь дырявую крышу бесстыдно проглядывают треугольники белого неба. На уроке истории ему рассказали про пиявок, и он узнал, что много лет тому назад считалось, будто пиявки могут высосать из человека большую кровь, жадно, глупо накачивая недугом свои жирные гадкие тельца, и теперь в свободное время – час после уроков, перед работами – он бродил в ручье на границе монастырских земель, искал себе пиявок. Когда он не сумел найти ни одной, ему сообщили, что в ручье пиявки не водятся, и тогда он принялся кричать и кричал, пока не сорвал голос, и даже тогда все кричал, даже когда ему стало казаться, будто горло наполнится горячей кровью.

Однажды он был у себя в комнате, и с ним там были и отец Гавриил, и брат Петр, и он старался не кричать, потому что уже понял, что чем тише он будет себя вести, тем быстрее все кончится, как вдруг ему почудилось, будто за окном быстро, как мотылек, промелькнул брат Лука, и ему стало стыдно, хотя тогда он еще не знал слова, которым можно было бы назвать это чувство. Поэтому на следующий день он в свой свободный час пошел в сад брата Луки, посрывал головки у всех нарциссов и свалил их в кучу на пороге его садового сарайчика – их рифленые венчики тянулись к небу, будто раззявленные клювы.

Позже, работая в одиночестве, он пожалел о своем поступке, и тоска отяжелила его руки, он выронил ведро с водой, которое таскал из одного угла комнаты в другой, рухнул на пол и закричал от горя и раскаяния.

За ужином он не мог есть. Он искал брата Луку и все думал, когда и как его накажут и когда нужно будет извиняться перед братом. Но Луки не было. Разнервничавшись, он уронил жестяной кувшин с молоком, холодная белая жидкость растеклась по полу, и сидевший рядом брат Павел столкнул его со скамьи на пол. «Вытирай! – рявкнул брат Павел, кинув ему тряпку. – Но другой еды не получишь до пятницы!» Была среда. «А теперь иди в свою комнату». Он убежал, пока брат не передумал.

Он жил в самом конце коридора, на втором этаже над столовой, и дверь в его комнату – бывший чулан без окон, где помещалась одна койка – всегда стояла нараспашку, закрывали ее, только когда с ним был кто-нибудь из братьев. Но едва он взбежал по лестнице и завернул за угол, как увидел, что дверь закрыта, и какое-то время топтался в пустынном, тихом коридоре, гадая, кто его там поджидает. Быть может, кто-то из братьев. А может, чудовище.

После случая с ручьем он иногда грезил о том, что сгустившиеся в углах тени – это огромные пиявки, черные и жирные, с лоснящимися, членистыми покровами, которые только и ждут, покачиваясь, чтобы навалиться на него своим влажным, беззвучным весом. Наконец он набрался храбрости и кинулся к двери, рванул ее на себя, но в комнате было пусто – одна его койка с грязно-коричневым одеялом, коробка салфеток и учебники на полке. И тут он заметил, что в углу, у изголовья стоит в стеклянной банке букет нарциссов – яркие горлышки, оборчатые верхушки.

Он уселся на пол рядом с банкой, растер в пальцах бархатную головку одного цветка, и в этот миг печаль его стала такой огромной, такой всепоглощающей, что ему захотелось вцепиться в себя, содрать шрам с руки, разорвать себя в клочья, как разорвал он цветы Луки.

Но почему же он так поступил с братом Лукой? Ведь не один брат Лука был к нему добр – когда брата Давида не заставляли его наказывать, тот всегда его хвалил и говорил, что он очень сообразительный, и даже брат Петр регулярно носил ему книги из городской библиотеки и потом с ним их обсуждал, как будто с настоящим человеком, но брат Лука его не только никогда не бил, он еще и попытался его приободрить, показать, что он на его стороне. В прошлое воскресенье ему нужно было прочесть вслух молитву перед едой, и когда он стоял возле стола отца Гавриила, его внезапно охватило желание нахулиганить, схватить горсть нарезанного кубиками картофеля из миски и швырнуть его через всю комнату. Он уже чувствовал, как будет саднить горло от крика, как ремень со шлепком ожжет его спину, как он провалится во тьму и очнется в хмельном свете дня. Он смотрел, как поднимается рука, смотрел, как пальцы раскрываются лепестками и тянутся к миске. И тут он поднял голову и увидел брата Луку, который подмигнул ему, так быстро и без улыбки, будто шелкнул затвором объектива, что он поначалу даже не понял, действительно ли он это увидел. Но тут Лука снова ему подмигнул, и отчего-то его это успокоило, он пришел в себя, дочитал молитву и сел, и ужин прошел без происшествий.

А теперь еще и цветы. Но не успел он и подумать о том, что бы это могло значить, как дверь открылась, вошел брат Петр, и он встал, выжидая, потому что наступил тот ужасный миг, к которому он никогда не мог подготовиться, когда могло быть все и все могло случиться.

На следующий день он сразу после уроков побежал в теплицу, решив обязательно что-нибудь сказать брату Луке. Но когда он был совсем рядом, его решимость угасла, и он переминался с ноги на ногу, пинал камешки, затем подбирал их, потом стал собирать мелкие ветки и швырять их в сторону леса, граничившего с монастырскими землями. Ну правда, а что он говорить-то будет? Он хотел уже было уйти, ретироваться к дереву на северной границе владений, между корней которого он вырыл ямку для новой коллекции вещей (хотя эти вещи он нашел в лесу и они были точно ничьи, там были камешки, ветка, немного похожая на поджарого пса в прыжке) – под этим деревом он проводил почти все свое свободное время, выкапывал свои сокровища, перебирал их, – но тут он услышал, как его кто-то окликнул, обернулся и увидел Луку, который помахал ему рукой и направился в его сторону.

– Так и думал, что это ты, – сказал брат Лука, подойдя к нему (потом ему придет в голову, что это было довольно неуклюжее приветствие, кто же еще это мог быть? Кроме него, в монастыре детей не было), и тогда он попытался извиниться перед Лукой, но не сумел подобрать подходящих слов, по правде сказать, не сумел подобрать никаких слов и вместо этого расплакался. Он никогда не стеснялся своих слез, но в этот миг ему стало стыдно, и он отвернулся от брата Луки и закрылся изуродованной рукой. Внезапно он ощутил, до чего ему хочется есть, и что сейчас еще только четверг, и ему не дадут никакой еды до завтрашнего дня.

– Так, – сказал брат Лука, и он понял, что тот стоит на коленях совсем рядом с ним. – Не плачь, не плачь.

Но говорил Лука так мягко, что он только горше расплакался.

Тогда брат Лука встал, и когда заговорил снова, голос у него стал повеселее.

– Слушай, Джуд, – сказал он. – Я хочу тебе кое-что показать. Идем со мной. – И он зашагал к теплице, оборачиваясь, чтобы убедиться, что он идет следом. – Джуд! – позвал он его снова. – Идем со мной.

И ему вдруг стало любопытно, и он пошел за ним, в сторону такой знакомой теплицы со слабеньким, но доселе ему незнакомым энтузиазмом, как будто он никогда этой теплицы не видел.

Когда он вырос, то иногда подолгу, мучительно пытался определить тот самый миг, после которого все пошло прахом, словно он мог его заморозить, законсервировать в банке, а потом показывать ученикам: тогда-то все и случилось. Тогда-то все и началось. Он все гадал: когда я украл крекеры? Когда оборвал нарциссы брата Луки? Или когда у меня случился первый припадок? И – совсем уже из области невозможного: когда я сделал что-то, отчего она решила бросить меня в переулке за аптекой? Что же это было?

Но на самом деле он знал: это было тем вечером, когда он вошел в теплицу. Когда разрешил себя туда отвести, когда бросил все и пошел за братом Лукой. Это было тогда. И после этого ничего уже нельзя было исправить.

Еще пять ступеней, и он у входной двери, никак не может попасть ключом в замок, потому что руки трясутся, и, едва не выронив ключи, он чертыхается. Наконец он в квартире, от двери до кровати всего пятнадцать шагов, но он все равно вынужден остановиться на полпути и медленно осесть на пол, последние футы до спальни он ползет, подтягиваясь на локтях. Сначала он просто лежит на полу, а вокруг него все раскачивается, потом, собравшись с силами, натягивает на себя одеяло. Так он будет лежать до тех пор, пока не уйдет солнце и в квартире не станет совсем темно, и тогда он наконец подтянется на руках, вскарабкается на кровать и уснет, ничего не съев, не умывшись и не переодевшись, стуча зубами от боли. Рядом никого не будет, потому что Виллем после спектакля собирался куда-то пойти со своей девушкой и вернется поздно.

Проснется он рано утром и почувствует себя лучше, но за ночь у него откроется рана, и гной протечет сквозь бинты, которые он наложил утром в воскресенье, собираясь на прогулку, на злосчастную прогулку, и брюки присохнут к коже. Он оставит Энди сообщение, и второе – его ассистенту, а потом примет душ, аккуратно сняв повязку вместе с ошметками гнилой плоти и сгустками почерневшей, склизкой крови. Стараясь не кричать от боли, он будет пытеть и хватать ртом воздух. Он вспомнит, о чем они говорили с Энди, когда такое случилось в прошлый раз, тогда Энди предложил ему держать под рукой инвалидное кресло, и хоть ему ненавистна сама мысль о том, чтобы снова усестись в инвалидное кресло, сейчас он бы от него не отказался. Он подумает, что Энди прав, что эти его прогулки – признак непростительной самонадеянности, что притворяться, будто все прекрасно и он вовсе никакой не инвалид, – эгоистично, хотя бы из-за того, как это сказывается на других людях, на людях, которые необъяснимо, неоправданно с ним добры и великодушны вот уже много лет, вот уже несколько десятков лет.

Он выключит душ, сползет в ванну, прижмется щекой к плиткам и станет ждать, когда ему полегчает. Он снова остро ощутит себя в ловушке – в теле, которое он ненавидит, с прошлым, которое он ненавидит, – остро ощутит, что никогда не сможет изменить ни того ни другого. Ему захочется плакать от отчаяния, ненависти и боли, но после того, что случилось с братом Лукой, он больше не плакал ни разу, после этого он сказал себе, что больше не заплачет никогда. Он снова остро ощутит, что он – ничто, выскобленная скорлупа, мякоть в которой давным-давно сморщилась, усохла и теперь только гроыхает впустую. Он почувствует знакомое покалывание, знакомую дрожь отвращения, которая охватывает его в самые

счастливые и самые горькие минуты жизни, которая спрашивает, кем это он себя возомнил, что смеет причинять неудобства стольким людям, что смеет жить дальше, даже когда его собственное тело велит ему остановиться.

Он будет сидеть, дышать и радоваться тому, что еще так рано, что теперь Виллему не придется на него натекаться и снова спасать. Затем он (хотя когда именно, он потом и не вспомнит) каким-то образом сумеет встать, вылезти из ванны, принять аспирин, поехать на работу. На работе слова будут расплываться и прыгать по страницам, и когда позвонит Энди, будет всего семь утра, и он скажет Маршаллу, что заболел, откажется от предложенной машины, но позволит Маршаллу – вот до чего ему будет плохо – посадить себя в такси. Он поедет туда, куда еще вчера глупо решил дойти пешком. И когда Энди откроет дверь, он постарается удержать себя в руках.

«Джуди», – скажет Энди и сегодня будет мягок, сегодня нотаций не будет, и Энди проведет его по пустой приемной, потому что утренний прием еще не начался, и уложит на стол, где он уже пролежал столько часов, что из них можно сложить целые дни, он даже разрешит Энди себя раздеть, и закроет глаза, и будет ждать короткой вспышки боли, когда Энди сдерет пластырь с его ноги и стянет с ободранной кожи насквозь промокший бинт.

Моя жизнь, будет думать он, моя жизнь. Он вцепится в эту мысль и будет повторять про себя эти слова – и заклинанием, и проклятием, и утешением, – пока наконец не ускользнет в другой мир, куда он попадает, когда у него все так болит, и он знает, что мир этот где-то совсем поблизости, но потом никогда не может вспомнить, где именно. Моя жизнь.

2

Ты спросил однажды: а когда я понял, что он мой? Я ответил, что всегда знал. Но это была неправда, и я не договорил еще, а уже понимал, что это неправда. Я так сказал, потому что это красиво звучит – так мог бы выразиться персонаж в книжке или в фильме, и потому что мы оба чувствовали себя жалкими и беспомощными, и потому что эти слова – так мне казалось – помогли бы нам меньше отчаиваться из-за случившегося, из-за того, что мы могли бы – или не могли – предотвратить и не предотвратили. Дело было в больнице. Надо уточнить: еще в первый раз. Ты наверняка помнишь: ты в то утро прилетел из Коломбо, перепрыгнув через несколько городов, стран, часовых поясов и приземлившись на целые сутки раньше, чем вылетел.

Но сейчас я хочу быть точным. Я хочу быть точным, во-первых, потому, что нет причин поступать иначе, и, во-вторых, потому, что это моя обязанность – я всегда стремился к точности, всегда стремлюсь.

Не знаю, с чего начать.

Может быть, с любезностей, хотя это чистая правда: ты мне сразу понравился. Тебе было двадцать четыре, когда мы познакомились, то есть мне, получается, было сорок семь. (Господи.) В тебе было что-то необычное; он потом рассказывал про твою доброту, но мне не надо было объяснять, я и так уже знал. В то первое лето вы все приехали к нам в гости, и это были такие странные дни для меня, и для него тоже: для меня – потому, что в вас четверых я видел, кем и чем мог бы стать Джейкоб, а для него – потому, что он-то знал меня только в роли учителя, а тут вдруг увидел, как я расхаживаю в шортах и фартуке, жарю морские гребешки на гриле и спорю с вами обо всем на свете. Когда Джейкоб перестал мне мерещиться в каждом из вас, я решил, что получился хороший уикенд, главным образом потому, что вам троим было хорошо. Вы не видели в происходящем ничего особенного: такие мальчишки ждут, что к ним отнесутся с симпатией, – не из высокомерия, а исходя из прошлого опыта; у вас не было основания считать, что на вежливость и дружелюбие мир ответит чем-то кроме вежливости и дружелюбия.

А у него, конечно, были все основания считать иначе, хотя узнал я об этом позже. А тогда я следил за ним, когда мы садились за стол, и замечал, как во время самых шумных споров он вжимался в спинку стула, словно выдавливаясь из круга, и наблюдал за вами – как легко вы спорили со мной, не боясь обидеть, как бездумно тянулись через весь стол, чтобы положить себе еще картошки, еще кабачков, еще мяса, как просили и получали то, чего хотели.

Ярче всего из тех выходных мне запомнилась одна мелочь. Мы шли вчетвером – ты, он, Джулия и я – по маленькой тропинке, обсаженной березами, которая ведет к площадке с видом. (Тогда тропинка просматривалась отовсюду, помнишь? Это позже она вся заросла деревьями.) Я шел рядом с ним, а вы с Джулией – сзади. Вы беседовали, ну не знаю, о насекомых? О полевых цветах? Вам всегда было что обсудить, вы оба любили прогулки на природе, любили животных, и я любил это в каждом из вас, хотя и не мог разделить ваши интересы. А потом ты тронул его за плечо, обогнал, встал на колени и завязал развязавшийся шнурок на его ботинке и сразу же вернулся к Джулии. Простой, естественный жест: шагнуть вперед, припасть на колени, вернуться. Для тебя это была мелочь, ты не задумался, даже в разговоре не возникло паузы. Ты всегда следил за ним (как и все вы), ты заботился о нем десятками разных способов, я все это увидел за те несколько дней – и не думаю, что ты помнишь этот конкретный случай.

Но пока ты завязывал ему шнурок, он посмотрел на меня, и выражение его лица... я и сейчас не могу его описать, но тогда я почувствовал, как что-то осыпается внутри меня,

словно башня из влажного песка, которая оказалась слишком высока – для него, и для тебя, и для меня тоже. Я знал, что в его лице вижу свое. Невозможно ведь найти человека, который сделает для тебя что-то подобное, да еще так легко, так непринужденно! Взглянув на него, я понял – впервые с тех пор как не стало Джейкоба, – что имеется в виду, когда люди говорят «сердце разбито», когда что-то может разбить тебе сердце. Мне всегда казалось, что это розовые сопли, но в тот момент я осознал, что это, может быть, и розовые сопли, но тем не менее правда.

И вот тогда-то я, видимо, и понял.

Я и не думал, что стану отцом – и не потому, что у меня самого были плохие родители. Наоборот, у меня были отличные родители: мама умерла от рака груди, когда я был еще совсем мал, и следующие пять лет мы прожили вдвоем с отцом. Он был врач-терапевт, из тех, что хотят состариться вместе со своими пациентами.

Мы жили в Вест-Энде, на Восемьдесят второй улице. Он принимал в том же здании, на первом этаже, и я нередко заходил к нему в приемную после уроков. Я был знаком со всеми его пациентами и гордился, что я – докторский сын, что я со всеми здороваюсь, что вижу, как принятые им младенцы вырастают в детей, которые смотрят на меня с почтением, потому что родители объяснили им: это сын доктора Стайна, он ходит в хорошую школу, одну из лучших в городе, и если они будут прилежно заниматься, то тоже смогут туда поступить. Отец звал меня «детка», и когда после уроков я заходил к нему на первый этаж, он брал меня за шею, даже когда я его уже перерос, и целовал в висок. «Детка, – говорил он, – как дела в школе?»

Когда мне было восемь, он женился на своей администраторше, Адели. Я не помнил собственного детства без Адели: это она ходила со мной по магазинам за новой одеждой, она праздновала с нами День благодарения, она заворачивала мне подарки на день рождения. Не то чтобы Адель была мне как мать – просто в моем мире матерью была Адель.

Она была немолода, старше отца, и принадлежала к тем женщинам, которые нравятся мужчинам и не вызывают у них неловкости, но на которых никому не приходит в голову жениться; то есть, иначе говоря, она не была красавицей. Но разве это важно для матери? Я спросил у нее однажды, хочет ли она собственных детей, и она ответила, что я и есть ее ребенок и она не может себе представить ребенка лучше меня, и все, что нужно знать про моего отца и про Адель и что я про них думал и как они ко мне относились, – это что мне в голову не приходило сомневаться в ее словах до той самой поры, когда мне было за тридцать и мы спорили с первой женой, надо ли заводить другого ребенка, ребенка, который заменил бы нам Джейкоба.

Она была единственным ребенком у своих родителей – как и я, как и мой отец – целая семья из единственных детей. Но родители Адели были живы (а родители отца умерли), и на выходные мы ездили к ним в Бруклин, в ту его часть, которая теперь тоже считается Парк-Слоуп. Они жили в Америке почти пятьдесят лет, но по-прежнему едва-едва говорили по-английски – отец нерешительно, а мать – с чувством. Они были грузные, как она, и добрые, как она, – Адель разговаривала с ними по-русски, и ее отец, которого я звал дедушкой, а как же иначе, разжимал пухлый кулак, демонстрируя спрятанное сокровище: деревянный свисток или ярко-розовую жвачку. Я был уже взрослый и учился в юридической школе, а он продолжал меня чем-нибудь одаривать при каждой встрече, хотя своей лавки у него к тому времени уже не было, то есть он свои гостинцы где-то покупал. Но вот где? Мне всегда представлялось, что где-то есть такая тайная лавка, там торгуют игрушками, вышедшими из моды поколение назад, и туда продолжают исправно заходить старики-иммигранты, чтобы запастись расписными деревянными волчками, оловянными солдатиками и шариками для игры в бабки, которые достаешь из обертки уже липкими.

Я всегда – безосновательно – придерживался теории, согласно которой мужчина, заставший новый брак отца в сознательном возрасте (и, стало быть, способный вынести суждение), выбирает в жены свою мачеху, а не мать. Но я не выбрал женщину, похожую на Адель. Моя жена – первая жена – отличалась сдержанностью и самообладанием. Другие известные мне девушки постоянно принижали себя – это касалось, разумеется, их умственных способностей, но в той же мере относилось и к желаниям, и к гневу, и к страхам, и к поведению, – но Лисл себя не принижала никогда. Мы выходили из кафе на Макдугал-стрит – это было наше третье свидание, – и тут из темной подворотни вывалился какой-то тип и обдал ее фонтаном рвоты. Комки повисли на ее свитере тыквенно-яркими кляксами, и я особенно хорошо помню ошметок, прилипший к кольцу с маленьким бриллиантом на ее правой руке, как будто у камня выросла опухоль. Кто-то из прохожих ахнул, кто-то взвизгнул, но Лисл всего лишь закрыла глаза. Другая женщина на ее месте вскрикнула бы или взвизгнула (я бы сам вскрикнул или взвизгнул), но я помню, что ее всю сильно передернуло, словно тело признавало отвращение, но вместе с этим отстранялось от него, – и, открыв глаза, она уже полностью владела собой. Стащив с себя кардиган, она швырнула его в ближайший мусорный бак и сказала мне: «Пошли». Я был нем и растерян на протяжении всего приключения, но в это мгновение я хотел ее, и я пошел за ней, пошел куда она меня вела – как оказалось, к себе домой, в съемную дыру на Салливан-стрит. По пути туда она держала правую руку, где на кольце все еще висел прилипший кусок рвоты, немного отведенной в сторону и так и шла всю дорогу.

Ни отец, ни Адель ее особо не жаловали, хотя ни разу и не сказали мне об этом; они вели себя вежливо и относились к моему выбору с уважением. Я, со своей стороны, ни разу не спрашивал, не принуждал их ко лжи. Вряд ли дело заключалось в том, что Лисл была не еврейка – родители не отличались религиозностью, – но они, видимо, считали, что я слишком перед ней преклоняюсь. Или это я позже так решил. Может быть, восхищавший меня профессионализм казался им бесчувственностью или холодностью. Уж точно не они одни так думали. Они всегда были с ней вежливы, и она с ними в целом тоже, но я думаю, что они предпочли бы невестку, которая бы с ними немного заигрывала, которой они могли бы рассказывать истории из моего детства, вгоняющие меня в краску, которая бы ходила обедать с Аделью и играла в шахматы с моим отцом. Знаешь, кого-то вроде тебя. Но Лисл такой не была и быть не собиралась, и когда они это поняли, они тоже от нее несколько отстранились – не демонстративно, нет, это был просто акт самодисциплины, чтобы напомнить себе, что есть границы, ее границы, и их надо уважать. С ней я чувствовал странное спокойствие, как будто перед лицом такого самоуверенного противника даже никакая беда не осмелится нам угрожать.

Мы познакомились в Нью-Йорке – я учился в юридической школе, она в медицинской, и после выпуска я отправился работать судебным референтом в Бостон, а Лисл (она была на год старше) поступила в интернатуру. Она специализировалась на онкологии. Конечно, я восхищался ее выбором и тем, что за ним стояло, ведь нет ничего утешительнее женщины-целительницы: вот она по-матерински склоняется к лежащему больному в халате белее облаков. Но Лисл не хотела, чтобы ей восхищались: онкология интересовала ее как сложная дисциплина, требующая незаурядных интеллектуальных усилий. Вместе со своими товарищами по онкологической интернатуре она презирала радиологов (меркантильные), кардиологов (надутые и самодовольные), педиатров (сентиментальные) и особенно хирургов (невыразимо высокомерные) и дерматологов (тут и добавить нечего – хотя, конечно, с ними часто приходилось сотрудничать). Жаловали они анестезиологов (странные, аутичные, въедливые, склонные к аддикциям), патологов (еще более яйцеголовые, чем они сами) и... да, в общем-то, и все. Иногда они приходили к нам домой и после ужина не расходились, продолжая обсуждать пациентов и исследования, а своих партнеров – юристов, историков,

писателей и ученых помельче – игнорировали, пока мы не перебирались в гостиную, где и вели разговоры о разных тривиальных, менее интересных предметах, которые заполняли наши дни.

Наша жизнь, жизнь двух взрослых людей, была вполне счастливой. Никто из нас не был, что мы мало времени проводим вместе. Пока она училась в ординатуре, мы жили в Бостоне; потом она снова поехала в Нью-Йорк, в аспирантуру. Я остался. К тому времени я поступил на работу в юридическую фирму и одновременно получил место доцента в юридической школе. Мы виделись на выходных – попеременно в Бостоне и в Нью-Йорке. А потом она отучилась и вернулась в Бостон; мы поженились; мы купили дом – маленький, не тот, что сейчас, на самой окраине Кеймбриджа.

Мой отец и Адель (и, кстати, родители Лисл тоже – по непостижимой причине они были куда эмоциональнее дочери, и в наши нечастые наезды в Санта-Барбару, пока ее отец шутил, а мать угощала меня нарезанными огурцами и перчеными помидорами с собственной грядки, Лисл наблюдала за ними отстраненно, словно их шумный нрав вызывал у нее неловкость или, по крайней мере, изумление) никогда не спрашивали, собираемся ли мы заводить детей; наверное, они думали, что, если не спрашивать, мы, может быть, сами захотим. А я, по правде говоря, не чувствовал в этом настоящей потребности; я никогда не представлял себе, что у меня будет ребенок, и никаких чувств по этому поводу не испытывал – ни хороших, ни плохих. Из этого я делал вывод, что не стоит: ребенка, рассуждал я, надо сильно хотеть, я бы даже сказал – жаждать. Это дело не для нерешительных и бесстрастных. Лисл думала так же – или так нам казалось.

Но потом, в один прекрасный вечер – ей было тридцать два, мне тридцать один, совсем молодые – я пришел домой и увидел, что она ждет меня на кухне. Такое случалось редко: ее рабочий день был длиннее моего, и обычно часов до восьми-девятого вечера она не появлялась.

– Нам надо поговорить, – торжественно объявила она, и я испугался. Лисл заметила и улыбнулась – она не была жестокой, и я не хочу сказать, что в ней не было доброты, не было нежности, в ней было и то и другое, она была способна и на доброту, и на нежность.

– Ничего плохого не случилось, Гарольд. – Она улыбнулась. – Наверное.

Я сел. Она шумно вдохнула.

– Я беременна. Как так вышло – не знаю. Наверное, пропустила пару таблеток и забыла. Почти восемь недель. Я сегодня была у Салли, сомнений никаких.

(Салли была ее соседкой по общежитию, ее лучшей подругой и ее гинекологом.) Она выпалила все это очень быстро, отрывистыми, короткими предложениями. Потом помолчала.

– От моих таблеток месячные прекращаются совсем, поэтому я не знала.

Я молчал.

– Скажи что-нибудь.

Это мне удалось не сразу.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил я.

Она пожала плечами.

– Нормально.

– Это хорошо, – невпопад пробормотал я.

– Гарольд, – она уселась напротив меня, – что мы будем делать?

– Ты что хочешь сделать?

Она снова пожала плечами.

– Я знаю, что я хочу сделать. Я хочу знать, что ты хочешь делать.

– Ты не хочешь его оставлять.

Она не стала спорить.

– Я хочу знать, чего хочешь ты.

– А если я скажу, что хочу его оставить?

Она не удивилась.

– Тогда я серьезно об этом подумаю.

Такого я тоже не ожидал.

– Лис, – сказал я, – мы сделаем так, как ты хочешь.

Нельзя сказать, чтобы мной двигало одно лишь великодушие – скорее трусость. В этом, как и во многом другом, я был рад оставить решение за ней.

Она вздохнула:

– Не обязательно все решать сегодня. У нас есть сколько-то времени.

Ну да, понятно, четыре недели.

Я думал об этом, лежа в постели. Мне в голову приходили все те мысли, которые обычно приходят к мужчинам, стоит им узнать, что их партнерша беременна. Как будет выглядеть младенец? Понравится ли он мне? Полюблю ли я его? А потом навалились и другие мысли. Отцовство. Со всей его ответственностью, и скукой, и ловушками.

Наутро мы об этом не говорили и на следующий день тоже. В пятницу, ложась в постель, она сонно сказала: «Завтра надо поговорить», и я ответил: «Обязательно». Но завтра мы так и не поговорили, и потом не поговорили, и вот прошла девятая неделя, а за ней десятая, а за ними одиннадцатая и двенадцатая, а потом уже было поздно что-либо делать, не опасаясь медицинских и этических проблем, и, мне кажется, мы оба испытали облегчение. Решение было принято за нас – вернее, наша нерешительность приняла решение за нас, – и теперь мы ждали ребенка. Такую взаимную нерешительность мы проявили впервые за весь наш брак.

Мы думали, что девочку назовем Адель Сара (Адель в честь моей матери, Сара в честь Салли). Но это оказалась не девочка, поэтому мы предложили Адели (она была так счастлива, что заплакала – один из тех редчайших случаев, когда она плакала при мне) выбрать первое имя, а Салли второе, получился Джейкоб Мор. (Почему Мор, спросили мы у Салли, и она ответила, что в честь Томаса Мора.)

Мне никогда не казалось – тебе, я знаю, тоже не кажется, – что любовь к ребенку выше, осмысленнее, значительнее, важнее любой другой. Мне так не казалось ни до Джейкоба, ни после. Но это особенная любовь, потому что в ее основе не физическое влечение, не удовольствие, не интеллект, а страх. Ты не знаешь страха, пока у тебя нет детей, и, может быть, именно это заставляет нас считать такую любовь более величественной, потому что страх придает ей величие. Каждый день ты просыпаешься не с мыслью «Я люблю его», а с мыслью «Как он там?». Мир в одночасье преобразается в вереницу ужасов. Я держал его на руках, стоя перед светофором на переходе, и думал: как абсурдно считать, что мой ребенок, любой ребенок может выжить в этой жизни. Такой исход казался столь же невероятным, как выживание какой-нибудь поздней весенней бабочки – знаешь, такие маленькие, белые, – которых мне иногда доводилось видеть в неверном воздухе, вечно в нескольких миллиметрах от столкновения с лобовым стеклом.

Я скажу тебе, какие еще две истины мне открылись. Во-первых, не важно, сколько лет ребенку, не важно, когда и как он стал твоим. Как только ты назвал кого-то своим ребенком, что-то меняется, и все, что тебе в нем раньше нравилось, все твои прежние чувства к нему теперь в первую очередь окрашиваются страхом. Это не про биологию, это нечто большее – когда страстно хочешь не столько обеспечить выживание своего генетического кода, сколько доказать свою несокрушимость перед лицом уловок и нападок вселенной, победить те силы, которые хотят уничтожить твое.

И второе: когда твой ребенок умирает, чувствуешь все, что должен чувствовать, все, о чем столько раз писало столько людей, поэтому я даже не стану ничего перечислять, а

только замечу, что все написанное о скорби одинаково, и одинаково оно не случайно – от этого текста по большому счету некуда отступать. Иногда что-то чувствуешь сильнее, что-то слабее, иногда – не в том порядке, иногда дольше или не так долго. Но ощущения всегда одинаковые.

Но вот о чем никто не говорит: когда это случается с твоим ребенком, часть тебя, крошечная, но неумолимая часть испытывает облегчение. Потому что тот момент, которого ты ждал, страшился, к которому готовил себя с первого дня отцовства, наконец наступил.

Ага, говоришь ты себе. Оно случилось. Вот оно.

И после этого тебе больше нечего бояться.

Много лет назад, когда вышла моя третья книга, один журналист спросил, можно ли сразу понять, есть у студента юридическое мышление или нет, и ответ на это – иногда можно. Но ты часто ошибаешься: студент, который казался блестящим в начале семестра, становится все менее блестящим к концу года, а тот, на кого ты вообще не обращал внимания, вдруг расцветает, и ты наслаждаешься тем, как он размышляет вслух.

Нередко студенты, больше других одаренные от природы, и мучаются больше других на первом году обучения – юридическая школа, особенно первый ее курс, это, конечно, не то место, где расцветают люди, наделенные творческим подходом, абстрактным мышлением и воображением. Мне часто кажется – я об этом слышал, но не знаю из первых рук, – что так же обстоят дела в художественных училищах.

У Джулии был друг по имени Деннис; в детстве он был невероятно талантливым художником. Они с Джулией дружили с ранних лет, и она как-то показала мне кипу рисунков, сделанных им лет в десять – двенадцать: наброски птиц, которые что-то клюют на земле, автопортреты – его круглое спокойное лицо; портрет отца-ветеринара, который гладит ослабевшегося терьера. Отец Денниса не видел смысла в уроках рисования, так что мальчик никакого формального образования не получал. Но когда они выросли и Джулия поступила в университет, Деннис отправился в художественное училище – учиться рисовать. В первую неделю обучения им разрешали рисовать что угодно, и преподаватель всегда выбирал именно его рисунки, чтобы приколоть их на доску, похвалить и обсудить.

Но потом их стали учить, как рисовать – в сущности, перерисовывать. В течение второй недели они рисовали только овалы. Широкие овалы, пухлые овалы, тонкие овалы. На третьей неделе рисовали круги: трехмерные, двухмерные. Потом цветок. Потом вазы. Потом руки. Потом головы. Потом туловища. И с каждой неделей профессионального обучения дела Денниса шли все хуже и хуже. К концу семестра его рисунки никогда уже не попадали на почетную доску. Взросшая в нем осторожность мешала рисовать. Теперь, увидев собаку с шерстью до самого пола, он видел не собаку, а круг на параллелепипеде и, пытаясь ее зарисовать, беспокоился о пропорциях, а не о том, чтобы передать ее собачность.

Он решил поговорить с преподавателем. Так мы и пытаемся тебя сломать, Деннис, сказал преподаватель. Только по-настоящему одаренные могут это выдержать. «Наверное, я не был по-настоящему одарен», – говорил Деннис. Он выучился на юриста и жил в Лондоне со своим партнером. «Бедный Деннис», – сочувственно говорила Джулия. «Да ладно, все нормально», – вздыхал Деннис, но звучало это неубедительно.

Вот и юридическая школа ломает умы подобным же образом. Писатели, поэты и художники редко проявляют себя в юриспруденции (разве что это плохие писатели, поэты и художники), но не факт, что математикам, логикам и ученым приходится легко. Первые терпят поражение, потому что у них своя логика; вторые – потому что у них нет ничего своего, кроме логики.

Он при этом был хорошим студентом – отличным студентом – с самого начала, но это отличие часто пряталось под маской агрессивной неотличимости. Слушая его ответы

в аудитории, я не сомневался, что у него есть все задатки великолепного юриста: юриспруденцию не случайно называют ремеслом, и, как любое ремесло, она в первую очередь требует цепкой памяти, это у него было. Во вторую очередь – как и многие другие ремесла – она требует способности увидеть стоящую перед тобой задачу, а затем сразу же представить вереницу проблем, которые могут за ней последовать. Для прораба дом – это не просто строение; это клубок труб, набухающих льдом по зиме, drank, впитывающая влагу летом, водостоки, плюющиеся фонтанчиками воды весной, цемент, трескающийся в первые же осенние холода. Так и для юриста дом – не просто жилище. Дом – это запертый сейф, заполненный договорами, залоговыми обязательствами, будущими тяжбами, потенциальными нарушениями; он чреват ущербом для твоего имущества, твоей собственности, твоей безопасности, твоей личной жизни.

Разумеется, нельзя все время об этом думать, а то сойдешь с ума. Поэтому для большинства юристов дом – это все-таки просто дом, его надо обставлять, ремонтировать, красить, освобождать, когда переезжаешь. Но есть этап, во время которого любой студент-юрист – любой хороший студент-юрист – обнаруживает, что его представление о мире сдвигается, и понимает, что от закона не скрыться, что нет таких взаимодействий, нет таких сторон повседневной жизни, до которых не дотягивались бы его длинные, цепкие пальцы. Улица превращается в сплошную катастрофу, клубок правонарушений и будущих гражданских исков. Думаешь о браке, а видишь развод. Мир временно становится невыносимым.

Он это умел. Он умел взглянуть на дело и увидеть его завершение; это очень трудно, потому что приходится держать в голове все возможности, все варианты последствий, а потом выбирать, о чем беспокоиться и что игнорировать. Но помимо этого, он размышлял – не мог заставить себя не размышлять – о нравственной стороне каждого дела. А это мешает учиться. У меня были коллеги, которые прямо запрещали студентам даже произносить слова «справедливо» и «несправедливо». «Справедливость тут ни при чем! – громогласно внушал нам один из моих учителей. – Что говорит закон?» (Профессора-юристы любят театральность, как и мы все.) Другой, услышав такие слова, ничего не говорил, а подходил к нарушителю и вручал ему бумажку (такие бумажки он всегда держал во внутреннем кармане пиджака) с надписью «Дреймэн 241» – в этом кабинете располагалась кафедра философии.

Вот тебе гипотетический пример. Футбольная команда собирается на гостевую игру, но их микроавтобус сломан. Они спрашивают маму одного из игроков, можно ли одолжить ее машину для поездки. Конечно, отвечает она, только я с вами не поеду. И просит младшего тренера отвезти команду вместо нее. В пути случается несчастье: машина вылетает в кювет и переворачивается; все пассажиры и водитель гибнут.

Для уголовного дела нет оснований. Дорога была скользкая, водитель был трезв. Несчастный случай. Но тут родители, отцы и матери погибших игроков, подают иск против владелицы автомобиля. Это был ее микроавтобус, говорят они, и, что еще важнее, именно она назначила водителя. Он был лишь ее представителем, и поэтому вся ответственность лежит на ней. Ну и вот. Что дальше? Выиграют ли истцы дело?

Студенты не любят этот пример. Я его использую нечасто – он такой запредельный, что его броскость перешибает учебный эффект, – но когда я его все-таки приводил, кто-нибудь в аудитории непременно выпаливал: «Но ведь это несправедливо!» Да, это слово – «справедливо» – ужасно раздражает, но важно, чтобы студенты ни на минуту о нем не забывали. Ответ на вопрос никогда не кроется в справедливости, объяснял я им, но и упускать ее из виду нельзя никогда.

А он и не поминал справедливость. На первый взгляд она его мало интересовала, и мне это казалось удивительным – ведь люди, особенно молодые, очень сильно заиклены на том, что справедливо, а что нет. Справедливость – это концепция, которой обучают воспитанных детей; это руководящий принцип всех детских садов, и летних лагерей, и песочниц,

и футбольных площадок. Джейкоб, когда еще мог ходить в школу, и учиться, и думать, и говорить, знал, что такое справедливость, знал, что это важно и что ее нужно ценить. Справедливость существует для счастливых людей, у кого в жизни было больше стабильности, чем непостоянства.

А «правильно» и «неправильно» – это для людей не то чтобы несчастных, но истерзанных, испуганных.

Или мне только теперь так кажется?

– Так что, выиграли дело истцы? – спросил я. В тот год, когда он был на первом курсе, я-таки разбирал то самое дело.

– Да, – сказал он и объяснил почему; он инстинктивно знал, что они выиграют. А потом, как по команде, с задней парты кто-то пропищал: «Но это же несправедливо!» – и прежде чем я начал читать первую лекцию курса – ответ никогда не кроется в справедливости и т. д. и т. п., – он тихо сказал:

– Зато это правильно.

Я так и не сумел спросить, что он имел в виду. Занятие закончилось, и все разом повскакивали и рванули к двери, как будто в аудитории начался пожар. Я сказал себе – спроси на следующем занятии, но забыл. А потом снова забыл, и опять. Годы шли, и я время от времени вспоминал этот разговор и каждый раз думал: вот надо спросить, что он имел в виду. Но потом так и не спрашивал. Не знаю почему.

С ним так происходило всегда: он знал закон. Он его чувствовал. Но потом, в тот самый момент, когда мне казалось, что пора закругляться с аргументами, он вводил нравственное соображение, он упоминал этику. Прошу тебя, думал я, ну не делай ты этого. Закон – вещь простая. Он дает гораздо меньше простора, чем кажется. В законе на самом деле есть место для этики и нравственности – но не в юриспруденции. Нравственность помогает нам создавать законы, но не помогает их применять.

Я беспокоился, что он усложнит себе жизнь, испортит свой удивительный дар, если – как ни прискорбно мне это говорить о своей профессии – станет думать. Прекрати! – хотел я сказать ему. Но не говорил, потому что со временем понял: мне нравится, как он думает.

В общем-то беспокоился я напрасно: он научился себя сдерживать, перестал упоминать правильное и неправильное. И, как мы знаем, эта склонность не помешала ему стать прекрасным юристом. Но позже я часто печалился и о нем, и о себе. Я жалел, что не вытолкал его из юридической школы, что не послал его, условно говоря, в «Дреймэн 241». Те навыки, которым я его обучил, в конечном счете не были ему нужны. Я жалел, что не подтолкнул его туда, где его ум мог бы проявить всю присущую ему гибкость, где ему не приходилось бы стреноживать полет мысли. Мне чудилось, что я взял человека, умевшего нарисовать собаку, и превратил его в человека, который теперь только и умеет, что рисовать геометрические фигуры.

По отношению к нему я много в чем виноват. Но иногда, как это ни абсурдно, я чувствую самую сильную вину вот за что. Я открыл перед ним дверь микроавтобуса, я пригласил его в дорогу. И хотя я не вылетел в кювет, я все-таки завез его в какое-то мрачное, холодное, бесцветное место и бросил, а ведь подобрал я его там, где пейзаж переливался всеми красками, небеса сверкали фейерверком, а он стоял с широко открытыми глазами и дивился этому миру.

3

За три недели до отъезда на День благодарения в Бостон на его рабочий адрес пришла посылка: широкий, плоский, громоздкий деревянный ящик, на обеих сторонах черным маркером – его имя и адрес; ящик пролежал возле стола целый день, и только вечером он открыл его.

По обратному адресу он догадался, что это, но все равно испытывал инстинктивное любопытство, какое всегда чувствуешь, разворачивая что-то, пусть даже нежеланное. В коробке обнаружились слои коричневой оберточной бумаги, потом пузырчатой пленки и, наконец, завернутая в белую бумагу картина. Он перевернул ее: «Джуду с любовью и извинениями, Джей-Би», – нацарапал на холсте Джей-Би, прямо над подписью «Жан-Батист Марион». К обороту рамы скотчем был приклеен конверт из галереи Джей-Би с адресованным ему письмом, удостоверяющим подлинность картины, с датой и подписью регистратора галереи.

Он позвонил Виллему, зная, что тот уже должен ехать домой из театра.

– Угадай, что мне сегодня прислали?

После секундной паузы Виллем ответил:

– Картину.

– Точно, – сказал он и вздохнул. – Значит, это была твоя идея?

Виллем закашлялся.

– Я просто сказал ему, что у него нет выбора, если он хочет, чтобы ты когда-нибудь еще с ним разговаривал. – Виллем замолчал, и он услышал шум ветра. – Тебе помочь дотащить ее домой?

– Спасибо, – сказал он, – но я пока оставлю ее здесь, потом заберу.

Он снова завернул картину в ее защитные слои и положил в ящик, который засунул под тумбу письменного стола. Перед тем как выключить компьютер, он начал было писать записку Джей-Би, но стер написанное и отправился домой.

Его почти не удивило, что Джей-Би все-таки послал ему картину, и совсем не удивило, что это Виллем убедил его так поступить. Полтора года назад, как раз когда Виллем начал играть в «Теореме Маламуда», Джей-Би предложили выставиться в галерее в Нижнем Ист-Сайде, и прошлой весной у него прошла первая персональная выставка, «Мальчики», серия из двадцати четырех картин, основанных на фотографиях их троих. Джей-Би сдержал свое давнее обещание и показывал ему те его фотографии, с которых собирался рисовать, и хотя он разрешал использовать многие из них (хоть и неохотно: ему становилось дурно при одной мысли об этом, но он знал, как важна эта серия для Джей-Би), но Джей-Би всегда были интереснее те фотографии, которые он использовать не разрешал и даже не помнил, когда они были сделаны, – в том числе и снимок, где он свернулся на кровати, с открытыми, но пугающе невидящими глазами, пальцы левой руки неестественно широко растопырены, словно когти вурдалака. Это была их первая ссора: Джей-Би упрашивал, потом дулся, потом угрожал, потом вопил, а когда из этого ничего не вышло, попытался перетянуть на свою сторону Виллема.

– Ты понимаешь, что я тебе ничего не должен? – сказал как-то Джей-Би, убедившись, что переговоры с Виллемом ни к чему не приведут. – Формально я не обязан спрашивать твоего разрешения. Я тебе, по сути, делаю одолжение. А так-то я могу рисовать все, что мне заблагорассудится.

На это было что возразить, но его слишком переполняла злость.

– Ты обещал, Джей-Би, – сказал он. – Разве этого недостаточно?

Он мог бы добавить, что Джей-Би должен ему это как друг, но уже много лет назад стало ясно, что его определение дружбы и ее обязательств очень отличается от определения Джей-Би, и об этом невозможно было спорить – можно было принять все как есть или не принимать совсем, и он принимал, хотя в последнее время приятие Джей-Би со всеми его особенностями требовало все больше тяжких, утомительных и раздражающих усилий.

В конце концов Джей-Би признал свое поражение, хотя в месяцы перед открытием выставки он то и дело упоминал свои «потерянные картины», великие работы, которые он мог бы создать, если бы Джуд был погибче и посмелее, если бы в нем было меньше забитости и (это был любимый аргумент Джей-Би) мешанства. Позже он будет удивляться своей доверчивости, тому, как твердо он был уверен, что с его желаниями будут считаться.

Открытие состоялось в четверг, в конце апреля, вскоре после его тридцатого дня рождения; вечер выдался не по сезону холодным, так что уже распустившиеся листья платанов замерзли и растрескались. Завернув за угол Норфолк-стрит, он остановился полюбоваться галереей: яркая золотая коробка света и мерцающего тепла на ледяном черном фоне. Войдя, он немедленно наткнулся на Черного Генри Янга и их общего приятеля по юридической школе, а потом увидел много других знакомых – по колледжу, по вечеринкам на Лиспенард-стрит, по обедам у теток Джей-Би и у родителей Малкольма; здесь были и старые приятели Джей-Би, с которыми он не виделся сто лет, поэтому ему не сразу удалось пробиться через толпу и увидеть картины.

Он всегда знал, что Джей-Би талантлив. Они все это знали. Можно было иметь сколько угодно претензий к Джей-Би как к человеку, но стоило увидеть его работы, и ты вдруг понимал, что недостатки, которые ты ему приписывал, – отражение твоей собственной мелочности и вздорности, а на самом деле внутри Джей-Би таится источник любви, понимания и мудрости. И в тот вечер он сразу увидел красоту и выразительность картин и испытывал лишь беспримесную гордость и благодарность к Джей-Би: за его достижения как художника, за то, что он создает цвета и образы, в сравнении с которыми все другие цвета и образы блекнут и меркнут, за его способность заставить тебя увидеть мир по-новому. Картины висели единым рядом, разворачивались на стене, как нотный стан, и тона, созданные Джей-Би, – густые сизо-синие, бурбонно-желтые – были такие особенные, ни на что не похожие, будто Джей-Би сочинил свой собственный цветовой язык.

Он остановился полюбоваться картиной «Виллем и девушка», он уже видел ее и даже купил: на картине Виллем отвернулся от камеры, но взгляд его упирался прямо в зрителя – хотя предполагалось, что он смотрит на девушку, которая стояла прямо в его поле зрения. Ему нравилось выражение лица Виллема, которое он так хорошо знал, когда тот вот-вот готов улыбнуться, и рот его еще мягок и как будто нерешителен, но мышцы вокруг глаз уже приподнялись. Картины не были расположены хронологически, рядом висел его собственный портрет с фотографии, сделанной всего несколько месяцев назад (свои изображения он торопливо проходил), а за ним – Малкольм с сестрой, судя по мебели, в первой, давно уже оставленной, квартирке Флоры в Вест-Виллидже («Малкольм и Флора, Бетун-стрит»).

Он обернулся в поисках Джей-Би и увидел, что тот беседует с директором галереи, и на мгновение Джей-Би повернулся, поймал его взгляд и помахал. «Гений», – произнес он одними губами, и Джей-Би ухмыльнулся и так же одними губами сказал: «Спасибо».

Но когда он перешел к третьей, последней стене, он увидел их: два портрета его самого, ни один из которых Джей-Би ему не показывал. На первом он был очень юн и держал в руках сигарету, а на другом, кажется, двухлетней давности, сидел согнувшись на краю кровати, уперев лоб в стену, руки и ноги скрещены, глаза закрыты – в такой позе он обычно дожидался конца приступа, чтобы собраться с силами и попробовать встать. Он не помнил, как Джей-Би снимал его, и, учитывая перспективу – снимок был сделан из-за дверного проема, – он и не мог помнить, он вообще не должен был знать о существовании такой фотографии.

На секунду он перестал слышать окружающие звуки, он мог только смотреть и смотреть на картины: даже в эту минуту у него хватило присутствия духа понять, что он реагирует не столько на сами изображения, сколько на воспоминания и ощущения, в которые они его возвращали; ему только кажется, что другие люди вторгаются в его мир, рассматривая свидетельства двух несчастливых моментов его жизни; это его личная реакция, он один воспринимает это так. Для всех остальных эти два портрета лишены контекста, лишены значения, если только он сам не станет ничего им объяснять. Но как же трудно ему было их видеть – и он внезапно, остро, захотел остаться в одиночестве.

Он продержался весь ужин после открытия, который тянулся бесконечно, невыносимо тоскуя о Виллеме, но у Виллема сегодня был спектакль, и он не мог прийти. По крайней мере, ему не пришлось разговаривать с Джей-Би, который был занят ролью хозяина; а людям – включая галериста, – которые подходили к нему и говорили, что две последние картины лучшие на выставке (как будто это была его заслуга), он улыбался и отвечал, что да, у Джей-Би поразительный талант.

Но позже, дома, уже взяв себя в руки, он смог наконец высказать Виллему свои чувства: он считал, что это предательство. И Виллем так безусловно принял его сторону, так разъярился, что он немного успокоился – и понял, что и для Виллема двуличие Джей-Би стало полной неожиданностью.

Это была вторая ссора, которая началась со стычки в кафе возле квартиры Джей-Би и в ходе которой тот проявил досадную неспособность просто извиниться. Вместо этого он говорил, говорил, говорил: о том, как прекрасны эти картины и как когда-нибудь, когда он преодолеет свои комплексы, он сможет их оценить, какая это вообще ерунда, ему просто нужно победить неуверенность в себе, совершенно беспочвенную, может быть, картины ему в этом помогут, ведь все, кроме него, знают, как он невыебенно хорош собой, может, пора наконец это понять – ведь он сам себя не видит, а эти картины, они уже нарисованы, они существуют – и что прикажешь теперь с ними сделать? Что, если их уничтожить, он станет счастливее? Что, содрать их со стены и бросить в огонь? Люди уже их видели и не смогут развидеть, так, может, он уже примет это как должное и успокоится?

– Я не прошу тебя уничтожить их, Джей-Би, – он был так зол, так заморочен вывернутой логикой Джей-Би, его оскорбительным упрямством, что ему хотелось кричать. – Я прошу тебя извиниться.

Но Джей-Би не мог и не хотел извиняться, и в конце концов он просто встал и ушел, а Джей-Би не попытался его остановить.

После этого он просто перестал разговаривать с Джей-Би. Виллем тоже попытался выяснить отношения с Джей-Би, и они (как Виллем потом рассказывал ему) стали орать друг на друга прямо на улице, а потом Виллем тоже перестал разговаривать с Джей-Би, и с этого момента все новости о Джей-Би они узнавали от Малкольма. Малкольм, по обыкновению оставшись над схваткой, сказал им, что Джей-Би, конечно, кругом неправ, но и они тоже требуют невозможного: «Ты же знаешь, что он не извинится, Джуди, – сказал Малкольм. – Это же Джей-Би. Пустая трата времени».

– Я требую невозможного? – спросил он у Виллема после этого разговора.

– Нет, – тут же отозвался Виллем. – Он поступил мерзко и должен извиниться.

Все картины выставки были распроданы. Картину «Виллем и девушка» доставили ему в офис, так же как и картину «Виллем и Джуд, Лиспенард-стрит, II», которую купил Виллем. Картина «Джуд после болезни» (когда он узнал, как она называется, он испытал такой гнев, такое унижение, что на мгновение ясно понял, что значит выражение «слепая ярость») была продана коллекционеру, чьи покупки считались благословением и предвестием будущего успеха: он покупал только на дебютных выставках, и почти каждый художник, чьи работы он покупал, делал серьезную карьеру. Только центральное полотно выставки, «Джуд с сигаре-

той», осталось непристроенным в результате поразительной для профессионалов ошибки: директор галереи продал его важному британскому коллекционеру, а владелец галереи – Музеем современного искусства.

– Ну вот и отлично, – сказал Виллем Малкольму, зная, что тот передаст его слова Джей-Би. – Джей-Би должен сказать галерее, что оставляет картину себе, и отдать ее Джуду.

– Он не может этого сделать, – ответил Малкольм с таким возмущением, как будто Виллем предложил выбросить картину в мусорный бак. – Это же МоМА!

– Какая разница? – возразил Виллем. – Если он такой охуительный, еще попадет в МоМА. Но говорю тебе, Малкольм, это его единственный шанс остаться другом Джуда. – Он сделал паузу. – И моим.

Малкольм передал его слова, и перспектива потерять Виллема заставила Джей-Би позвонить Виллему и назначить встречу, на которой он плакал и обвинял друга в предательстве, в том, что тот всегда принимает сторону Джуда, а на его, Джей-Би, карьеру Виллему наплевать, хотя Джей-Би его всегда поддерживал.

Все это заняло несколько месяцев, весна сменилась летом, и они с Виллемом поехали в Труро без Джей-Би (и без Малкольма, который сказал, что боится оставлять Джей-Би одного); Джей-Би приезжал к Ирвинам в Акуинну на День поминовения, а они – на четвертое июля, и потом они вдвоем с Виллемом отправились в давно запланированную поездку в Хорватию и Турцию.

А потом наступила осень, и Виллем с Джей-Би встретились во второй раз. Виллем внезапно и неожиданно получил первую роль в кино, роль короля в экранизации «Девушки с серебряными руками», и в январе уезжал на съемки в Софию, а он получил повышение, и ему предложил работу партнер компании «Кромвель, Турман, Грейсон и Росс», одной из лучших юридических фирм в городе, и еще в мае ему все чаще приходилось использовать инвалидное кресло, полученное от Энди, а Виллем расстался с девушкой, с которой встречался год, и стал встречаться с Филиппой, художником по костюмам, а Керриган, референт, с которым он когда-то вместе работал, разослал по электронной почте письмо всем коллегам, бывшим и нынешним, в котором одновременно признавался в своей гомосексуальности и отрешивался от консерватизма, а Гарольд спрашивал его, в каком составе они приедут в этом году на День благодарения и может ли он остаться после того, как все уедет, потому что им с Джулией надо с ним кое о чем поговорить, и он ходил в театр с Малкольмом и на выставки с Виллемом и читал романы, о которых мог бы поспорить с Джей-Би, потому что именно они в компании были главными читателями: такой вот список всего, что они могли бы делать и обсуждать вчетвером, а вместо этого обсуждали теперь по двое и по трое. Они так долго были неразлучной четверкой, что поначалу это сбивало с толку, но потом он привык, и хотя скучал по Джей-Би – по его искрометному самолюбанию, по его умению смотреть на все на свете с точки зрения того, как это отразится на нем лично, – он также убедился, что не может его простить и вполне может представить свою жизнь без него.

А теперь, похоже, борьба окончена, и картина принадлежит ему. Виллем зашел к нему в офис в субботу, и они развернули картину, и прислонили ее к стене, и вдвоем смотрели на нее в молчании, словно это был редкий зверь, замерший в клетке зоопарка. Фотографию этой картины напечатали в «Нью-Йорк таймс» вместе с рецензией, а потом – в «Артфоруме», но только теперь, в безопасном пространстве своего офиса, он смог вполне оценить ее – если забыть, что это он, можно почти понять, как прекрасен этот портрет, почему Джей-Би так дорожил им: с холста смотрело странное существо, испуганное и настороженное, непонятного пола, в одежде с чужого плеча, которое подражало жестам и позе взрослого, явно не понимая, что они значат. Он больше не испытывал никаких чувств к этому существу, но это был сознательный волевой акт, как отворачиваться от человека на улице, даже если видишь

его повсюду, и постоянно притворяться, что не замечаешь его, пока в один прекрасный день ты и вправду не перестанешь его замечать – или, во всяком случае, не научишься в это верить.

– Не знаю, что с ней делать, – признался он Виллему с сожалением, потому что не хотел эту картину и чувствовал себя виноватым, что Виллем изгнал Джей-Би из своей жизни ради него, из-за предмета, на который, конечно, он больше никогда не взглянет.

– Н-да, – сказал Виллем, и наступило молчание. – Ты всегда можешь подарить ее Гарольду, я уверен, он будет рад.

И он понял: Виллем всегда знал, что ему не нужна картина, это не имело значения, Виллем не жалел, что выбрал его, а не Джей-Би, и не перекладывал на него вину за свое решение.

– Пожалуй, – проговорил он медленно, хотя знал, что не сделает этого: Гарольд был бы рад (картина очень понравилась ему на выставке) и повесил бы ее на видном месте, и ему бы пришлось смотреть на нее каждый раз, когда он у них гостит.

– Прости, Виллем, – сказал он наконец. – Прости, что притащил тебя сюда. Я оставлю картину здесь, пока не решу, что с ней делать.

– Все нормально, – ответил Виллем, и они снова завернули портрет и положили его под стол.

После того как Виллем ушел, он включил телефон, и на этот раз написал Джей-Би: «Джей-Би, большое спасибо за картину и за извинения, и то и другое много значит для меня». Он помедлил, раздумывая, что еще написать. «Я скучал по тебе и хочу узнать, что происходит в твоей жизни. Позвони, когда у тебя будет время повидаться». Все это было правдой.

И вдруг он понял, что надо сделать с картиной. Он нашел адрес регистратора галереи и написал ей записку – благодарил за то, что она послала ему «Джуда с сигаретой», и сообщал, что хочет передать картину в дар МоМА, не может ли она помочь ему с этой процедурой?

Позже он будет вспоминать это как поворотный момент, как переход между отношениями, которые были чем-то одним, а стали чем-то другим: это относилось к его дружбе с Джей-Би, но также и к его дружбе с Виллемом. Когда ему было двадцать с чем-то, он нередко смотрел на своих друзей и ощущал такое чистое, глубокое удовлетворение, что иногда ему хотелось, чтобы мир вокруг остановился, чтобы никому из них не пришлось двигаться дальше, чтобы можно было остаться здесь, в абсолютном равновесии, когда его любовь к ним абсолютна. Но, конечно, так быть не могло: мгновение, и все сдвинется, момент бесшумно исчезнет.

Утверждение, что Джей-Би навеки упал в его глазах, было бы слишком мелодраматичным, слишком окончательным. Но он и вправду впервые осознал, что люди, которым он научился доверять, все-таки могут предать его и, как бы грустно это ни было, это неизбежно, а жизнь будет катиться себе дальше, потому что на каждого, кто так или иначе подведет его, приходится по крайней мере один человек, который этого не сделает никогда.

Он всегда считал (и Джулия была с ним согласна), что Гарольд страшно усложняет празднование Дня благодарения. Каждый год, начиная с самого первого Дня благодарения у Гарольда и Джулии, Гарольд обещал ему – обычно в начале ноября, еще бурно увлеченный своим начинанием, – что на этот раз он потрясет мир до основания и подорвет самую банальную из американских кулинарных традиций. Гарольд всегда приступал к делу с размахом: на первый их совместный День благодарения, девять лет назад, когда он был на втором курсе юридической школы, Гарольд объявил, что приготовит утку *à l'orange*, только заменит апельсины на кумкваты.

Но когда он приехал к ним с испеченным накануне пирогом из грецких орехов, встретила его одна Джулия. «Про утку ни слова», – шепнула она, целуя его. На кухне Гарольд с загнанным видом вынимал из духовки здоровущую индейку.

– Молчать, – предупредил Гарольд.

– А что тут скажешь? – спросил он.

В этом году Гарольд спросил, как он смотрит на форель, и добавил:

– Форель, фаршированную всяким фаршем.

– Форель – это отлично, – ответил он с опаской. – Но вообще, знаешь, Гарольд, я индейку тоже люблю.

Этот разговор так или иначе заводили каждый год: Гарольд предлагал разные белковые продукты и разных животных – черноногих китайских кур на пару, филе миньон, тофу с грибами муэр, салат из копченого сига на подушке из пророщенной ржи – в качестве улучшенного заменителя индейки.

– Ни одна живая душа не любит индейку, Джуд, – с чувством сказал Гарольд. – Я тебя раскусил. Ты притворяешься, что любишь индейку, только потому, что я, по-твоему, не в состоянии приготовить ничего другого. Это оскорбительно. Будет форель, решено. А ты можешь испечь такой же пирог, как в прошлом году? Мне кажется, он хорошо пойдет с вином, которое я купил. Пришли мне список продуктов, которые тебе нужны для готовки.

Самое удивительное, думал он, что Гарольд в обычной жизни равнодушен к еде (и вину). Прямо сказать, вкус у него был отвратительный; Гарольд часто водил его в дорогие, но посредственные рестораны, где радостно поглощал пережаренное мясо с неизобретательным гарниром из переваренной пасты. Он каждый год обсуждал странный пунктик Гарольда с Джулией (которая тоже не очень интересовалась едой): у Гарольда было много навязчивых идей, в том числе необъяснимых, но эта казалась особенно необъяснимой и к тому же неотвязной.

Виллем считал, что Гарольдовы искания на День благодарения начались в шутку, но с годами преобразились во что-то более серьезное и теперь он действительно не мог остановиться, даже понимая, что цель недостижима.

– Но знаешь, – сказал Виллем, – вообще-то это все из-за тебя.

– В каком смысле? – спросил он.

– Это спектакль для тебя, – сказал Виллем. – Это он говорит тебе, что тебя любит, причем так сильно, что хочет произвести на тебя впечатление, – но не произнося самих слов.

Он немедленно отверг это предположение: «Вряд ли, Виллем», – но иногда воображал, что Виллем прав, и чувствовал себя глупым и немножко жалким от того, что эта мысль приносила ему столько счастья.

В нынешнем году на День благодарения с ним поехал только Виллем; когда они с Джей-Би помирились, тот уже договорился погостить у теток и взять с собой Малкольма; он попытался было переиграть, но тетки так всполошились, что Джей-Би решил их не злить.

– А что у нас на этот раз? – спросил Виллем. Они поехали на поезде в среду, вечером накануне праздника. – Изюбрь? Оленина? Черепаха?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.